Симметрия желаний

Автор:
Эшколь Нево

Симметрия желаний

Эшколь Нево

1998 год. Четверо друзей собираются вместе, чтобы посмотреть финал чемпионата мира по футболу. У одного возникает идея: давайте запишем по три желания, а через четыре года, во время следующего чемпионата посмотрим, чего мы достигли?

Черчилль, грезящий о карьере прокурора, мечтает выиграть громкое дело. Амихай хочет открыть клинику альтернативной медицины. Офир – распрощаться с работой в рекламе и издать книгу рассказов. Все желания Юваля связаны с любимой женщиной.

В молодости кажется, что дружба навсегда. Что можно, как раньше, встречаться сколько угодно и обсуждать самое сокровенное. Но у неумолимого времени свои планы. Будут ли друзья по-прежнему близки четыре года спустя? Выдержит ли их дружба испытание редкими встречами и предательством? Исполнятся ли желания, и, главное, будут ли они еще актуальны?

Роман Эшколя Нево «Симметрия желаний» – глубокое психологическое исследование природы дружбы и ее неизбежной трансформации.

Эшколь Нево

Симметрия желаний

Eshkol Nevo

Mish'ala Achat Yamina. World cup wishes

Copyright © Eshkol Nevo, 2007

Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2020

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление.
Издательство «Синдбад», 2021.

Отзывы

Драматичная, захватывающая, мудрая история о жизни и любви, верности и предательстве, беспечной молодости и взрослении… о жизни.

La Repubblica

Этот живой, точный, выразительный портрет беззаботного молодого поколения – еще одно подтверждение яркого таланта Эшколя Нево.

Haaretz

Многослойный, умный, трогательный о хрупкости человеческого существования и ценности дружбы.

Hannoversche Allgemeine Zeitung

Эшколь Нево – культовая фигура в современной израильской литературе – всегда ставит своих героев в трудные ситуации и с их помощью исследует современную действительность.

The Independent

Моим друзьям

22 июня 2002 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сведению заинтересованных лиц

1 июня 2002 года ко мне обратилась семья господина Юваля Фрида с просьбой забрать из отделения полиции на улице Дизенгоф в Тель-Авиве принадлежащие указанному господину личные вещи. В числе предметов, переданных мне госпожой Эстер Лоэль, заведующей хранилищем вещдоков, имелась нейлоновая сумка, содержащая толстую пачку бумажных листов. Поскольку господин Фрид никогда не говорил ни мне, ни прочим своим друзьям о том, что занимается писательством, я счел вышеупомянутые листы одним из переводов, которые он выполнял за плату для студентов гуманитарных факультетов. Однако на сумке не было ни имени, ни номера телефона, а на первой странице отсутствовал, как это принято, заголовок на английском. Я упоминаю об этом, чтобы объяснить, почему счел уместным уделить несколько часов просмотру бумаг. Мною двигал не вуайеризм, а искреннее желание выяснить, кому предназначен пакет и что я должен с ним делать.

Краткий просмотр текста, осуществить который я себе позволил, показал, что это не перевод статьи, а творчество господина Фрида. Более подробное ознакомление выявило, что передо мной рукопись книги под названием «Симметрия желаний», над которой господин Фрид работал в последний год и героями которой являются сам господин Фрид и трое его друзей. Из

телефонного разговора с отцом господина Фрида я узнал, что его сын действительно собирался опубликовать рукопись и уже договорился с хайфской типографией «Эфрони», принадлежащей его семье. По словам отца, оставалось лишь отредактировать текст, и, насколько ему известно, эту работу господин Фрид намеревался поручить мне.

Считаю необходимым заметить: я вовсе не уверен, что отец господина Фрида не ошибается, полагая, что желание автора заключалось в том, чтобы окончательный вид рукописи придал именно я. Чем дальше я читал, тем больше недоумевал: почему господин Фрид захотел, чтобы этот труд взял на себя один из героев книги, представленный в повествовании в самом неприглядном свете? Но так как сам господин Фрид, разумеется, не мог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление своего отца, а я, как его друг, придавал огромное значение завершению работы над книгой в должный срок, я с тяжелым сердцем принялся за дело.

Соблазн внести в рукопись изменения был чрезвычайно велик. Как уже упоминалось, нижеподписавшийся выставлен в книге на посмешище. Мне приписываются постыдные и грубые речи, которых я в жизни не произносил; хуже того – книга изобилует фактическими неточностями, которые – утверждаю как юрист – при других обстоятельствах повлекли бы за собой иск о клевете. Но в конечном счете я решил проявить терпимость и по мере возможности удержаться от внесения правок и изменений, чему было две причины. Во-первых, несмотря на множество неточностей и «поэтических вольностей», которые позволил себе господин Фрид, в целом от текста веет искренностью, и я боялся, что мои правки нарушат это впечатление. Во-вторых, «переделка» текста, с которой господин Фрид не мог ни ознакомиться, ни согласиться, представлялась мне предательством его доверия, а поскольку в прошлом я однажды его уже предал, мне не хотелось усугублять свою вину.

Несмотря на вышесказанное, я не мог на правах редактора не внести некоторых изменений стилистического характера. По большей части они чисто косметические: запятая вместо точки с запятой, двоеточие вместо точки, исправление калькированных с английского конструкций на более органичные для нашего языка и т. п. Лишь в одном месте я позволил себе исправить фактическую ошибку: на 4-й странице рукописи было написано, что в 1994 году в финале чемпионата мира по футболу Бразилия играла с Германией, тогда как на самом деле это был матч между Бразилией и Италией. На основании долгой дружбы с господином Фридом могу с уверенностью сказать, что это была просто

описка, от которой он сам с удовольствием избавился бы.

Кроме этой правки, трех коротких примечаний и небольшого эпилога, который я счел необходимым добавить, все в этой книге принадлежит перу господина Фрида, моего любимого друга, и он единственный, кто несет за написанное ответственность.

Йоав Алими (Черчилль), юрист

1

Идею подал Амихай. У него постоянно рождались подобные идеи, хотя признанным выдумщиком в нашей компании считался Офир. Но Офир гробил свой талант в рекламном агентстве, сочиняя слоганы для банков и производителей жвачки, а на наших тусовках предпочитал не напрягаться и больше помалкивал, ограничиваясь простенькими словечками, популярными среди жителей Хайфы, и только иногда, хорошенько набравшись, лез ко всем нам обниматься и твердил: «Как же нам повезло, друзья, что мы вместе! Вы даже не представляете себе, как нам повезло!» Что до Амихая, то он впаривал сердечникам подписку на дистанционные медицинские консультации, и даже если порой ему случалось услышать от клиента – как правило, пережившего холокост, – ту или иную захватывающую историю, нельзя сказать, чтобы работа приносила ему особенное удовлетворение. Раз в несколько месяцев он объявлял, что бросает свой «Телемед» и идет учиться технике шиацу, но всегда находилась причина, мешавшая ему осуществить задуманное. Сначала ему прибавили зарплату, потом предоставили служебный автомобиль. А потом он женился на печальной Илане. На свет появились близнецы. Так что свое бьющее через край жизнелюбие, не находившее выхода ни в домах престарелых, ни в постели с Иланой, Амихай выплескивал на нас, трех своих лучших друзей. Он реально фонтанировал потрясающими идеями. Вспомнить, к примеру, как он уговаривал нас съездить на озеро Кинерет, чтобы отметить десятую годовщину нашего первого посещения тамошнего аквапарка, или подбивал принять участие в конкурсе караоке и исполнить а капелла одну из песен «Битлз». «Почему „Битлз“?» – удивился Черчилль, и по его тону нетрудно было догадаться, что он думает об этой инициативе. «А почему бы и нет? – возразил Амихай. – Их

четверо, и нас четверо», – но по его тону было ясно: он уже понял, что это предложение, как и все предыдущие, имеет нулевые шансы быть принятым. Вообще в нашей компании ничего не предпринималось без одобрения Черчилля. Когда он разбивал в прах чьи-то аргументы, то делал это так небрежно и безжалостно, что сразу хотелось пожалеть адвокатов, против которых он выступал в суде. Кстати, именно Черчилль сколотил нас в компашку в средней школе. То есть не то чтобы сколотил, скорее, мы сами сбились вокруг него, как заблудшие овцы. Каждая черта его сияющего лица, даже развязавшийся шнурок кроссовки, даже походка – все создавало впечатление, что он точно знает, что хорошо, а что плохо. Что у него есть некий внутренний компас, подсказывающий ему верное направление. В те годы мы все, разумеется, изображали уверенность в себе, но только Черчилль и правда был наделен ею в полной мере. Девчонки, когда он проходил мимо, принимались накручивать на палец волосы, хоть он вовсе не был киношным красавцем, ну а мы дружно, как коммунисты, проголосовали за него на выборах капитана классной футбольной команды, хотя среди нас были игроки и получше. Именно в команде мы и прозвали его Черчиллем. Перед полуфиналом, в котором мы играли против старшеклассников, он собрал нас и толкнул зажигательную речь. Все, что мы можем им противопоставить, сказал он, – это кровь, пот и слезы. Когда он договорил, мы почти плакали, а потом, на поле, просто вывернулись наизнанку, без передышки носились за мячом и обдирали колени об асфальт, что не помешало нам проиграть со счетом три – ноль из-за трех непростительных ошибок самого Черчилля: сначала он отдал пас нападающему соперника, потом не принял передачу в центре поля и в довершение всего забил смачный автогол – вместо того чтобы отбить угловой в поле, послал мяч прямо в наши ворота, на которых стоял я. После игры никто не высказал ему никаких претензий. Как можно наезжать на того, кто сразу после финального свистка собирает команду в центре поля и, опустив очи долу, берет всю ответственность на себя? Как можно злиться на парня, который, чтобы загладить свою вину, приглашает всю команду на матч с участием клуба «Маккаби» из Хайфы, и все знают, что он платит из своих карманных денег, потому что родители ему эту затею не финансируют? Как можно негодовать на того, кто на каждый день рождения присылает тебе открытку с самыми искренними пожеланиями, кто умеет слушать как никто, кто готов даже в Шаббат сорваться с места и покатить в пустыню Негев, чтобы навестить тебя на военной базе Цукей-Увда, куда тебя призвали на сборы; того, кто на три месяца, пока ты не устроишься в Тель-Авиве, предоставляет тебе кров и уступает свою кровать, а сам спит на диване?

Даже после того, что случилось с Яарой, я не мог на него сердиться. Все были уверены, что я впаду в ярость. Приду в бешенство. Амихай, как только услышал

новость, позвонил мне и сказал: «Черчилль повел себя как последняя сволочь, но у меня есть идея. Поехали на пейнтбол в Бней-Цион, и там ты его обстреляешь. Отделаешь как бог черепаху! Я говорил с ним, он согласен. Как тебе?»

Офир покинул рабочий кабинет в разгар совещания по продвижению трехслойной туалетной бумаги, только чтобы сказать мне: «Братан, я с тобой. Я тебя на сто процентов понимаю. Но, умоляю, не делай ничего, о чем потом пожалеешь. Ты даже не представляешь себе, как нам повезло, что мы вместе! Ты даже себе не представляешь!»

На самом деле умолять меня не требовалось. Разозлиться у меня все равно не получилось. Как-то ночью я даже поехал к его дому. По дороге я распалял себя, повторяя вслух: «Ублюдок, вот же ублюдок!» – но, когда добрался до места, подниматься к нему мне расхотелось. Может, заметь я в окне квартиры его силуэт, кулаки у меня и сжались бы, но его не было, и я просто сидел в машине, брызгал водой на ветровое стекло и включал дворники, брызгал и включал дворники, а когда длинный рассветный луч коснулся солнечных батарей на крыше, уехал. Я представить себе не мог, что ударю его. Хотя он этого заслуживал. Хотя, когда во время последнего чемпионата каждый из нас загадал по три желания, мои – все три – были связаны с Яарой. Записывать желания на бумажках придумал Амихай.

После того как Эмманюэль Пети забил третий гол, стало ясно, что Кубок возьмет Франция, и нас охватило смутное чувство разочарования (мы болели за Бразилию). Мы доели приготовленные Иланой буреки с привкусом слез, догрызли все семечки, а от арбуза с фетой остался последний ломтик, который никто не решался взять, и тогда Офир сказал: «Слушайте, а я вот тут подумал: мы, между прочим, уже пятый чемпионат смотрим вместе!» На что Черчилль тут же возразил: «С чего ты взял, что пятый? От силы четвертый».

Мы начали считать.

Мексику 86-го года мы смотрели в доме отца Офира в Кирьят-Тивоне. Бедная наивная Дания проиграла Испании со счетом пять – один, и Офир расплакался, а его отец процедил сквозь зубы: «Вот оно, материнское воспитание». Чемпионат 90-го застал нас в разных городах на Палестинских территориях, но однажды выдался Шаббат, когда мы все получили увольнительные и собрались у Амихая, чтобы посмотреть полуфинал. Кто тогда играл, мы уже не помнили, потому что в доме крутилась его младшая сестра в коротеньком красном халатике, и нам,

солдатам, стало не до футбола. В 94-м мы уже были студентами. Черчилль первым переехал в Тель-Авив, а вслед за ним в большой город перебрались и мы. Нам не хотелось терять друг друга из вида, а Черчилль сказал, что только там у нас есть шанс проявить себя.

– Но финал девяносто четвертого мы смотрели в Хайфе, в больнице «Рамбам»! – вспомнил Офир.

– Точно! – подтвердил я.

Я ужинал с родителями, когда со мной случился самый страшный в моей жизни приступ астмы. Пока меня везли в больницу, я временами всерьез верил, что сейчас умру. Врачи стабилизировали мое состояние уколами, таблетками и кислородной маской, но еще на несколько дней оставили меня в больнице. Как они сказали, для дальнейшего наблюдения.

Финал был на следующий день. Италия против Бразилии. Ни словом мне не обмолвившись, Черчилль созвал ребят, и они втиснулись в его побитый «жук». По дороге остановились возле блинной в Кфар-Виткине, купили мне холодного персикового чая, без которого я жить не могу, и пару бутылок водки – в те годы мы прикидывались, что нам нравится водка, – и за десять минут до начала матча ворвались ко мне в палату (охранник их не пускал, потому что время посещения закончилось, но они подкупили его бутылкой «Кеглевича»). Когда я их увидел, у меня едва не случился новый приступ. Но я сделал несколько глубоких вдохов диафрагмой, успокоился, мы включили висевший над моей койкой крошечный телевизор, и через сто двадцать минут плюс серия пенальти Бразилия взяла Кубок.

– А потом был девяносто восьмой год, – подытожил Черчилль. – Итого четыре чемпионата.

– Слава Всевышнему, что мы не заключали пари, – сказал Офир.

– Слава Всевышнему, что есть мировые чемпионаты по футболу, – сказал я. – Только благодаря им время не слипается в один бесформенный ком и каждые четыре года мы можем сделать паузу и посмотреть, как изменилась жизнь.

– Круто! – сказал Черчилль. Он всегда был первым, кто реагировал на подобные высказывания с моей стороны. А иногда – единственным.

– Знаете, в чем нам повезло? В том, что мы вместе… – начал Офир.

– Вы се-бе пред-ста-вить не мо-же-те, как нам по-вез-ло! – хором закончили мы за него.

– Не понимаю, чувак, как ты выживаешь среди рекламщиков. Ты у нас такая принцесса, – подколол его Черчилль.

– Вот оно, материнское воспитание, – засмеялся Офир.

И тут Амихай заявил:

– У меня идея.

– Погоди! – перебил его Черчилль. – Давайте посмотрим, как вручают Кубок. – Он надеялся, что к концу церемонии Амихай забудет про свою идею.

Но Амихай не забыл.

Знал ли он, что родившаяся у него идея обернется пророчеством, которое на протяжении следующих четырех лет будет снова и снова жестоко нас обманывать, но при этом, как ни странно, сохранит свою пророческую силу?

Скорее всего, нет. За внешней покладистостью Амихая скрывалось несгибаемое упорство, позволявшее ему часами выслушивать клиентов «Телемеда», складывать на балконе пазлы из тысяч фрагментов и пробегать каждый день по десять километров. В любую погоду. Думаю, именно это упорство и заставило его вернуться к прерванному разговору, после того как Дидье Дешам под рев трибун поднял Кубок.

– Я что придумал, – сказал он. – Давайте каждый напишет на бумажке, чего ему хотелось бы добиться за четыре года. По работе или в личной жизни. В любом аспекте, неважно. А на следующем чемпионате развернем свои бумажки и посмотрим, с кем что случилось.

– Прекрасная идея! – крикнула из кабинета печальная Илана.

Мы обернулись на ее голос. Сколько мы знали Илану, она никогда ничем не восторгалась. С ее лица не сходила гримаса уныния (не покинувшая ее даже на собственной свадьбе; именно поэтому на свадебном видео так много Амихая, двигающегося своей танцующей походкой, похлопывая себя по животу, и так мало Иланы). Когда мы собирались у Амихая, она, как правило, через пару минут забивалась в уголок и погружалась в чтение. Почти всегда это была книга по ее специальности – психологии, – что-то о связи депрессии с тревожностью. Мы привыкли к ее молчаливому присутствию и холодности к Амихаю, и вдруг – такой энтузиазм?

Илана вышла из кабинета и нерешительно направилась к нам.

– Я как раз читаю статью американского психолога, – сказала она. – Он утверждает, что правильная постановка цели наполовину гарантирует успех ее достижения. Следующий чемпионат состоится через четыре года, верно? Значит, вам исполнится по тридцать два года. Как раз тот самый возраст… Гипсовый возраст.

– Гипсовый?

– Этот термин использует психолог. Он имеет в виду возраст, в котором личность человека затвердевает, как гипс, и приобретает законченную форму.

Она с минуту постояла, ожидая нашей реакции, не дождалась и, разочарованная, вернулась к себе в кабинет.

Амихай взглянул на нас.

Мы не могли его подвести. Не теперь, когда в ней наконец пробудились хоть какие-то эмоции. Когда появилась надежда, что он не зря так старается ее разморозить.

– Ладно, тащи свои бумажки, – сказал я.

– Только давайте все сделаем организованно, – вступил Черчилль. – Каждый запишет по три желания. По три коротких предложения. Иначе мы растечемся мыслью.

Амихай выдал каждому по толстой книге по психологии, чтобы было на что положить бумагу. И по ручке.

* * *

С первым желанием проблем у меня не возникло. Оно сложилось в голове в ту самую секунду, как Амихай озвучил свою идею.

«К следующему чемпионату я хочу по-прежнему быть с Яарой», – написал я.

А потом я застрял. Я прикидывал, что бы еще себе пожелать, пытался думать о самых разных вещах, но мыслями неизменно возвращался к ней, к ее шелковистым карамельно-каштановым волосам, к ее гладким худеньким плечикам, к ее зеленым глазам за оправой очков, к тому мгновению, когда она их снимает, и я знаю, что это лучшее мгновение… Мы познакомились два месяца назад в кампусе, в кафетерии здания «Нафтали». В начале перерыва между лекциями она появилась там с двумя парнями. Она шла, неся большой поднос, на котором стояла маленькая бутылочка грейпфрутового сока. Прямая спина, быстрая походка – собранные в хвост карамельно-каштановые волосы раскачивались на ходу. Парни неуклюже косолапили следом. Ей не сразу удалось открыть бутылку, но она не обратилась к своим приятелям за помощью. Они обсуждали виденный накануне спектакль. Вернее, говорила она, практически без передышки, а парни на нее глядели. Она говорила, что из пьесы можно было выжать гораздо больше, найдись у режиссера хоть капля вдохновения. «Взять хотя бы декорации… – Она глотнула сока. – Почему в этой стране все театральные декорации одинаковые? Неужели нельзя придумать что-нибудь более оригинальное, чем стол, вешалка и кресло с блошиного рынка?» Потом она заговорила о музыке и о том, что режиссер мог бы добиться от актеров большего, если бы питал к своей профессии настоящую любовь. Последнее слово она не только выделила интонационно, но и приложила руку к груди. «Полностью согласен!» – поддакнул сидевший напротив нее парень, не сводивший глаз с ее блузки. «Ты совершенно права, Яара», – добавил второй. Потом оба встали и ушли на лекцию. Она осталась за столом одна и на долю секунды показалась мне маленькой и растерянной. Она достала из сумки

тетради, поправила мизинцем очки на носу, скрестила ноги и погрузилась в чтение. Прежде чем перевернуть очередную страницу, она слегка слюнила палец, а я смотрел на нее и думал: обалдеть, до чего сексуальным может быть типичный жест библиотекарши, если девушка что надо. Интересно, задался я вопросом, как меняется это серьезное лицо, когда его обладательница смеется? Появляются ли у нее ямочки на щеках? Но этого я, скорее всего, никогда не узнаю, потому что мне в жизни не хватит смелости к ней подойти.

– Послушай! – сказала она, подняв голову от своих конспектов. – Ты, случаем, не в курсе, что значит английское слово revelation?

Удача – кляча: садись да скачи! Так же было и с моим дальтонизмом, который на протяжении многих лет причинял мне известные неудобства («Дети, видите вон там красивые анемоны? Кто сказал „нет“?»), но в критический момент спас, не позволив офицеру-кадровику определить меня в пограничники.

То же самое произошло, когда Яара обратилась ко мне с вопросом. Годы спартанского англосаксонского воспитания, ведра чая с молоком, хронический эмоциональный запор и глубоко въевшееся ощущение себя чужаком, перенятое от родителей, которые и через тридцать лет после переезда из Брайтона продолжали чувствовать себя иностранцами и по-прежнему разговаривали между собой на смеси иврита с английским…

Все это в единый миг сработало в мою пользу.

Я объяснил, что revelation означает «открытие» или «откровение». Ее это вроде бы полностью удовлетворило, и тогда я быстро добавил, что это слово может также использоваться в значении «разоблачение». Все зависит от контекста.

Она прочитала мне все предложение. Потом еще одно, с которым у нее возникли трудности. Потом я дал ей свой номер телефона: вдруг ей снова понадобится моя помощь, и – о, счастье – она позвонила в тот же вечер, и мы говорили о самых разных вещах, и разговор тек, как вино, а потом мы начали встречаться, потом поцеловались, потом занимались любовью, а когда мы валялись на лужайке перед Академией музыки, она положила голову мне на живот и стала выстукивать на моем бедре фортепианную мелодию, доносившуюся из репетиционного класса, и купила мне голубую рубашку, потому что «хватит ходить в черном», и все это время я искал подвоха: как случилось, что девушка,

служившая живым опровержением теории Черчилля о трех четвертых («Девушка не может быть одновременно и красивой, и умной, и в постели что надо, и при этом свободной. Один из четырех элементов всегда отсутствует»), – так вот, как случилось, что такая девушка выбрала именно меня? Я знал, что за несколько месяцев до знакомства со мной она рассталась с гитаристом, который пять лет мучил ее изменами, но в кампусе хватало ребят привлекательнее меня, готовых ее утешить. И вообще, история с ветреным гитаристом казалась мне неправдоподобной. Кому придет в голову обманывать такую девушку? Как вообще можно желать кого-то, кроме нее, кроме нее одной?

* * *

Амихай торопил меня. Все остальные уже вернули ему ручки.

Я перечитал свое первое пожелание и быстро дописал:

2. К следующему чемпионату я хочу жениться на Яаре.

3. К следующему чемпионату я хочу, чтобы у нас с Яарой был ребенок. Желательно девочка.

– Ладно, а что дальше? – Офир дождался, пока я не отдам ручку, и запустил ладонь в свои кудри.

– А теперь сдавайте мне свои бумажки, – сказал Амихай. – Я сложу их в коробку и сохраню до следующего чемпионата.

– Почему именно ты? – спросил Офир.

– Потому что я самый надежный из вас.

– То есть? – возмутился Офир.

– Он прав, – успокоил его Черчилль. – У него жена, своя квартира, близнецы. Мы до следующего чемпионата точно сменим с десяток адресов, и при переездах наши бумажки затеряются.

– О’кей, – сказал Офир. – Но тогда сперва зачитаем их вслух.

– Шутишь? – не согласился Амихай. – Какой же это будет сюрприз?

– Да хрен с ним, с сюрпризом! – разозлился Офир. – Я хочу знать, что вы написали. Иначе не отдам свою записку.

– Откладывать удовольствие не в твоих правилах, да? – саркастически заметил Амихай и удовлетворенно добавил: – Вот оно, материнское воспитание.

– А ты знаешь историю про чувака, который все время откладывал удовольствие? – парировал Офир. – Жил-был чувак и постоянно откладывал на завтра удовольствие. Откладывал, откладывал, откладывал – пока не помер.

– У меня идея, – вмешался Черчилль, пока Офир с Амихаем не увязли в очередной словесной баталии: во время этих перепалок, внезапных и по большей части бессодержательных, они изливали друг на друга столько злости, что это ставило нас в тупик. – Пусть каждый прочтет только одно из трех желаний. Так сохранится элемент сюрприза, но кое-какое представление о мечтах каждого мы получим. Кажется, у вас, рекламщиков, это называется тизингом?

– Не тизингом, а тизером, – поправил его Офир, и на его лицо легла тень, как всегда, когда ему напоминали о том, чем он занимается.

– Ладно, я первый. – Амихай развернул свой листок. – «К следующему чемпионату я открою клинику альтернативной медицины».

– Ами-и-инь! – воскликнул Черчилль, выражая чувства всех присутствующих.

Мы все надеялись, что желание Амихая сбудется. Если он все-таки откроет свою клинику, то хотя бы перестанет проедать нам плешь бесконечными разговорами на эту тему.

Офир развернул свой листок:

– «К следующему чемпионату я сделаю рекламе ручкой и издам книгу рассказов».

– Книгу рассказов? – удивился я. – Ты вроде собирался снять про нас фильм?

– Собирался. Но сюжет фильма построен на том, что один из нас… гибнет в армии. И ты обещал, что если никто из нас не… то ты…

– Если это еще актуально, я готов умереть в любую секунду, – предложил я (и стоило мне это произнести, как по спине пробежала сладкая дрожь, как всегда, когда я размышлял о вероятности смерти).

– Брось, не надо! – сказал Офир. – Я в последнее время все больше склоняюсь к сочинению рассказов. У меня полно историй, но, когда я в одиннадцать вечера прихожу домой с работы, нет сил даже компьютер включить.

– Поддерживаю! – подбодрил я его. – До следующего чемпионата у тебя куча времени. В любом случае переводчик на английский у тебя уже есть.

– Спасибо, друг. – Офир похлопал меня по плечу, и глаза у него заблестели. – Ты даже себе не представляешь, как нам повезло…

Черчилль быстро, пока Офир не пустил слезу, развернул свой листок.

– «К следующему чемпионату, – прочитал он самым серьезным тоном, – я планирую трахнуть как минимум двести восемь девчонок».

– Сколько-сколько? – захохотал Амихай. – Двести восемь? А почему не двести двадцать две? Или триста для ровного счета?

– Сам смотри, – объяснил Черчилль. – Четыре года, в году пятьдесят две недели. Одна девчонка в неделю – итого двести восемь. Да ладно, я пошутил. Вы что, правда поверили, что я потрачу желание на то, что произойдет и так?

– Прикалываешься, значит? – угрюмо спросил Амихай. Человеку, до скончания дней обреченному терпеть печальную Илану, мысль о том, что можно уложить в постель двести восемь разных женщин, наверняка туманила воображение.

– Само собой, – хохотнул Черчилль и зачитал свою записку: – «К следующему чемпионату я хочу провести громкий процесс. Имеющий большое общественное значение. Я хочу принять участие в деле, которое обернется социальными переменами».

Офир и Амихай восхищенно покачали головами, а я подумал, что мне после заявления Черчилля особенно неловко вслух называть свои желания.

– Давай, твоя очередь, – обратился ко мне Амихай.

Я посмотрел на свой листок. Хорошо хоть, не надо озвучивать все три пункта программы.

– «К следующему чемпионату я хочу по-прежнему быть с Яарой», – промямлил я.

Разумеется, они дружно на меня накинулись.

– Слушай, это несерьезно! – воскликнул Офир. – Мы знаем, что никакой Яары не существует!

– Пока мы ее не увидим, это желание не имеет силы, – вынес свой вердикт Черчилль.

– Наверняка какая-нибудь уродина, – заявил Офир, – потому он ее и прячет. – Он посмотрел на меня – обижусь или нет?

– Спорю на что хочешь, она косая, – предложил Амихай.

– У нее задница размером с аэродром.

– Сиськи до колен.

– Плечи как у грузчика.

– Она вообще мужик, поменявший пол. Раньше ее звали Яар.

– Ладно, – сказал я, – сдаюсь. Во вторник приглашаю вас всех к себе. Познакомитесь с ней.

Но в понедельник я перенес встречу на следующую неделю, сказавшись больным, а потом отменил и ее, под тем предлогом, что мы обещали навестить ее родителей в Реховоте. Конец моим метаниям положила сама Яара, полушутя-полусерьезно заметив:

– Я начинаю думать, что ты меня стыдишься.

– Не дури! – сказал я.

– Тогда почему ты не хочешь познакомить меня со своими друзьями? – спросила она.

– Я как раз очень хочу, – ответил я. – Просто пока не получается.

– Вот и я хочу. Ты столько о них говоришь.

– Разве? – удивился я.

– Да ты их упоминаешь чуть ли не через слово. И гостиная у тебя увешана их фотографиями, пусть и не лучшего качества. Каждые пять минут один из них тебе звонит, и вы заводите разговор. Не деловой и короткий, как делает большинство мужчин, нет – вы вступаете в настоящую дискуссию. Мне вообще кажется, что между вами очень тесная связь. Или я не права?

– Не знаю, – сказал я. – Иногда мне кажется, что да. Что это на всю жизнь. Знаешь, в прошлом году мы ездили на День памяти в нашу школу, и я заметил, что все остальные компании из нашего выпуска распались, и, пока звучала сирена, только мы стояли рядом, плечом к плечу. Честно говоря, я сам не понимаю, в чем тут дело. То ли мы держимся вместе по инерции, то ли нас сблизили последние восемь лет в Тель-Авиве. С другой стороны, когда мы встречаемся, я иногда сам себя спрашиваю: зачем мы это делаем, какой в этом смысл. Но может, этот бесконечный танец – то сошлись, то разошлись – и есть основа дружбы? Как ты думаешь?

– Очень тонкий анализ, – блеснув глазами, сказала Яара. – Но ты уходишь от темы. В следующий вторник мы приглашаем их на ужин, – непререкаемым тоном добавила она и сняла очки.

Я согласился, потому что был не в силах противостоять этим зеленым глазам и потому что не придумал ни одной отговорки, кроме смутного ощущения, что кончится все это скверно, – ощущения, которое я приписал своему хроническому пессимизму.

Ужин, кстати, удался на славу. Парни с аппетитом уминали приготовленные нами фаршированные овощи, а Яара без труда нашла с каждым общий язык. Вместе с Офиром она посмеялась над снобизмом рекламщиков (как выяснилось, она когда-то работала ассистентом продюсера на съемках ролика о стиральном порошке). С Черчиллем обсудила склонность прокуроров проявлять снисходительность к обвиняемому, если тот принадлежит к числу публичных персон. Амихаю рассказала, что вылечилась от мононуклеоза иглоукалыванием, чем немало удивила обычных врачей. Ко мне она постоянно прикасалась, поглаживала по затылку, клала мне на руку ладонь, опускала голову мне на плечо и даже два раза легонько поцеловала в шею, как будто почувствовала то, что я тщательно скрывал от нее все два месяца, что мы были вместе, – страх ее потерять. Признаюсь, еще никогда в жизни я не был так счастлив.

– Ну, что скажешь? – спросил я, проводив гостей. Звук их шагов еще отдавался на лестничной площадке.

– Прекрасные у тебя друзья, – сказала Яара и обняла меня.

– А подробнее? – поинтересовался я, принимаясь мыть посуду и счищать с тарелок прилипшие остатки фаршированных перцев.

– Офир – очень отзывчивый и добрый, – послышался за спиной ее голос. – Сколько лет он в рекламе? Шесть? В этом циничном мире оставаться таким непросто. Амихай невероятно терпелив. Мне кажется, из него получится отличный специалист по нетрадиционной медицине. В любом случае, – сказала она и обняла меня сзади, – они все, похоже, очень тебя любят. По крайней мере, в этом мы с ними похожи.

– А как тебе Черчилль? – спросил я и почувствовал, как ее руки ослабили, а потом и вовсе разжали объятие.

– Вроде умный парень, – неуверенно сказала Яара.

– Но?… – Я повернулся к ней. Руки у меня еще были мокрые и пахли средством для мытья посуды.

– Я не говорила «но». – Она чуть отстранилась.

– Не говорила, но подумала.

– Забудь. Несправедливо судить о человеке по одной встрече.

Я знал, что она права. И что гораздо легче навесить на человека ярлык, чем допустить, что он сложнее, чем кажется. Но я ничего не мог с собой поделать.

– И все же, – стоял я на своем. – Мы с ним знакомы столько лет, что я плохо себе представляю, какое первое впечатление он производит на окружающих.

– Честно говоря, он показался мне зазнайкой. Как будто смотрит на вас троих свысока. Из VIP-ложи. Я не очень люблю таких людей. Еще мне не понравилось, как он говорит о женщинах. Ты заметил, что политиков-мужчин он называет исключительно «министрами» или «мэрами», а политиков-женщин – или «дурами», или «крашеными блондинками»?

– Возможно, – холодно ответил я.

И хотя я практически вытянул из нее ответ, ее слова вызвали во мне глухое раздражение: слишком уж она поспешила очернить моего друга.

– Ты просто не знаешь, какой он потрясающий парень. После окончания юридического факультета его приглашали работать сразу в несколько частных контор, где он заработал бы кучу денег. Но он поступил в прокуратуру, потому что считал, что это важнее. Пару недель назад, когда проходил финал футбольного чемпионата, мы все написали на листках бумаги, что хотим иметь через четыре года, к следующему чемпионату. Каждый из нас загадал что-то

для себя, и только он написал, что хочет совершить что-то значительное, что отразится на жизни всего общества… Так что, может… Может, тебе не стоит торопиться его осуждать?

– А что ты загадал? – спросила Яара.

Ее глаза соблазнительно блестели поверх очков. С тех пор как мы начали встречаться, я впервые позволил себе немного на нее рассердиться, и мне показалось, что это ей, как ни странно, понравилось.

– Секрет, – сказал я, стараясь сохранить в голосе суровость. – Если хочешь узнать, тебе придется остаться со мной до следующего чемпионата, когда мы будем читать эти записки.

– Конечно, останусь. – Яара прижалась ко мне и засунула руки в задние карманы моих джинсов. – Тоже мне, напугал девушку романтикой.

Через две недели она ушла к нему.

По поводу того, как это произошло, существует несколько противоречивых версий.

Черчилль утверждает, что в обеденный перерыв столкнулся с Яарой на улице, и она сказала, что, как ей кажется, во время ужина у нас в гостях у нее возникло превратное впечатление о нем и, если он не против, ей хотелось бы пригласить его на чашку кофе и еще раз с ним поговорить. Черчилль согласился, потому что почувствовал, что для нее это важно. Они зашли в кафе и за разговором не заметили, как пролетело время. Перед тем как проститься, Яара сказала, что между ними осталось много неясностей и почему бы им завтра не встретиться снова и не продолжить беседу.

Со своей стороны, Яара утверждает, что это он через три дня после того ужина позвонил ей и сказал, что, с тех пор как увидел ее, только о ней и думает и потерял покой и сон. Она ответила, что не знает, что ему сказать, а он – что хочет ее видеть. Об этом не может быть и речи, ответила она, они не должны встречаться тайком от меня. Тогда он взмолился и сказал, что толпы преступников, насильников и прочих убийц выходят из суда оправданными потому, что, с тех пор как он ее увидел, он не в состоянии нормально выполнять

свою работу. Она рассмеялась и согласилась встретиться: всего на несколько минут, за чашкой кофе и только из-за насильников. Перед тем как проститься, он сказал, что между ними осталось много неясностей и почему бы им завтра не встретиться снова и не продолжить беседу.

Я полагаю, что правду сказала она.

Но мне хотелось бы верить, что правду сказал он.

Как бы то ни было, они тайно встречались неделю, а потом она пришла ко мне и сказала, что запуталась. Что ей нужно время, чтобы подумать. Пока она говорила, она держала свою изящную шею склоненной. И без конца касалась меня руками. Но очки не сняла ни разу.

Он позвонил в тот же вечер и, как всегда, был точен и убедителен. Он рассказал мне, что произошло. Сказал, что ему очень жаль. Сказал, что знает, что его извинения ни черта не стоят. Сказал, что поймет, если я на какое-то время перестану с ним общаться. Но он надеется, что это время продлится не слишком долго, потому что я его лучший друг. И что это обстоятельство делает его поступок еще более достойным презрения (он употребил слово «презрение» – никто не упрекнул бы его в расплывчатости формулировок).

Я, конечно, бросил трубку. Но это не помогло мне унять дрожь ярости. Как не изменило и того факта, что постепенно мной овладело чувство облегчения.

Моя жизнь вернулась в прежнее спокойное русло (кое-кто назвал бы ее монотонной), какой и была до того, как в нее ворвалась Яара. Я зарабатывал переводами, которые делал для студентов гуманитарных факультетов. Денег хватало на повседневные расходы, не более того, но я никогда не стремился разбогатеть и не пытался копить. По правде говоря, я вообще ни к чему не стремился. В свои двадцать восемь лет я не представлял себе, кем хочу стать в тридцать. Даже крошечный росток знает, какова его цель, и естественным образом упорно тянется вверх, превращаясь в оливковое дерево. Но я понятия не имел, в каком направлении мне расти. Я полз по жизни, как автомобиль по запруженному в час пик шоссе Аялон, писал диссертацию по философии на тему «Метаморфозы: великие мыслители, изменившие свои воззрения» и каждое лето скупал университетские каталоги в надежде найти более конкретную тему исследования.

В минуту слабости я отправился в одну из контор, которые оказывают помощь в выборе профессии. Пухлощекая и полная энтузиазма дама-консультант изучила мои тесты и заявила, что, судя по результатам, передо мной открыты все двери и я могу стать кем только пожелаю. В том-то и проблема, ответил я. В том, что я ничего не желаю. Тогда она сказала: «Я здесь как раз для того, чтобы помочь вам определиться». – «Вы меня не поняли, – сказал я. – Я ничего не хочу. У меня отсутствует мотивация. Я – как та лошадь, которая стоит в стойле и предпочитает наблюдать за другими лошадьми, а не скакать самой».

Она героически терпела меня на протяжении еще двух консультаций, а потом настоятельно порекомендовала обратиться к психотерапевту. Я кивнул, но ни к какому психотерапевту не пошел. Зачем? Чтобы начать лечение, неважно где – в группе «Анонимные алкоголики» или в пустыне, в рамках тренинга по самопознанию, – вы изначально должны верить в то, что человек способен меняться. Кроме того, я и так знал, что скажет психотерапевт: эмоциональная холодность в семье сформировала у меня хроническую апатию. Тот факт, что в детстве меня недостаточно обнимали и целовали, парализовал мою волю. (Забавно, что на семинаре по литературному творчеству, который я сейчас посещаю, преподаватель называет сдержанность «одним из главных писательских талантов». Он говорит, что чем драматичнее сюжет, тем холоднее должен быть рассказчик. При этом, добавляет он, не следует слишком увлекаться сдержанностью и надо уметь ее преодолевать.)

В любом случае после знакомства с Яарой моя сдержанность полетела к чертям. В те месяцы, что мы провели вместе, моя лошадь сорвалась с аркана и понеслась вскачь, неся меня на спине, – только держись! Вместе с Яарой она примчала меня в школу, где та училась, и Яара показала мне маленький дворик – в ее воспоминаниях он был больше, – где одноклассницы однажды заявили ей, что исключают ее из своей компании; она примчала меня в театр, куда Яара ходила, в основном чтобы испытать разочарование и потом с горящими щеками объяснять мне, что она поставила бы спектакль совершенно иначе, гораздо острее; она примчала меня в Иерусалим, на вечеринку, которая длилась до утра, и, когда Яара танцевала, волосы летали у нее вокруг лица, и это было сладостно и больно, больно и сладостно; она примчала нас с ней в Хайфу, к моим родителям, и Яаре хватило пяти минут, чтобы их покорить; я следовал за ней повсюду, попутно освобождаясь от своей вечной расчетливой осторожности, и, став легким, как перышко, устремлялся в самые дальние дали, в потаенные уголки ее и своей души. По ночам, лежа в постели, она рассказывала мне о себе: о том, что рана, нанесенная одноклассницами, у нее до сих пор не затянулась и заставляет ее сторониться женщин; о том, что гитарист угрожал наложить на

себя руки, если она его бросит, а через три месяца сам бросил ее. Впервые в жизни я не просто слушал, а признался, что до нее существовал в пустыне и уже смирился, что проживу свой век без любви, если не считать воображаемых женщин, которых я выдумывал каждую ночь, а днем выискивал на улице, в магазинах и на лужайках кампуса их двойников. Не без доли самоиронии я представил ей свою коллекцию воображаемых женщин, заверив, что все они остались в прошлом. В то же самое время во мне росло нехорошее предчувствие, что Яару я тоже выдумал и что по завершении нашей скачки меня ждет вполне реальное падение. Я даже хотел этого падения. Тех первых секунд, когда ты лежишь на земле и слушаешь оглушительную тишину. Но когда это произошло на самом деле…

Я не бился головой о стену. Не вставал на подоконник перед открытым окном. Не выпил одним махом пузырек снотворного. Я набирал все больше переводов, чтобы не оставалось времени думать. И попросил Амихая не звать меня смотреть с ним футбол, потому что я все равно не приеду.

– Но это несправедливо! – запротестовал он. – Это несправедливо, что виноват Черчилль, а от компании откалываешься ты.

– Ничего я не откалываюсь! Я просто не хочу вас видеть! – почти прокричал я, как будто крик мог добавить логики в мой аргумент, и даже когда печальная Илана позвонила мне под предлогом, что ей нужна помощь с переводом какой-то статьи, но через секунду призналась, что на самом деле звонит, чтобы сказать, что ребята очень по мне скучают, и она не понимает, почему я отказываюсь от их поддержки, хотя она мне нужна, я ответил, что просто не могу. Тогда она сказала, что я, если захочу, могу увидеться только с ней, и ее голос звучал тепло и сочувственно – ничего общего с теми резкими нотами, которые прорывались в нем, когда она при нас разговаривала с Амихаем, но я все же ответил: «Спасибо, Илана. Правда, спасибо, но нет».

* * *

Сказать откровенно, это было нелегко. Без друзей по Хайфе Тель-Авив снова стал чужим, враждебным городом, каким и был, когда я сразу после армии перебрался в него – без особого желания, только потому, что перед самым призывом, в День независимости, необдуманно дал Черчиллю такое обещание.

Мы сидели на трибуне школьного стадиона, и Черчилль объявил, что на этот раз мы едем в Тель-Авив, а Офир добавил, что читал в газете, что на площади Малкей-Исраэль будет праздник. Амихай сказал, что вход туда, наверное, будет стоить очень дорого, потому что в Тель-Авиве все дорого, на что Офир возразил: «Балда, это же площадь, кто берет деньги за вход на площадь?» – «Сам балда, – ответил Амихай, – что, им трудно поставить заграждения?» Тут вмешался Черчилль: «Хватит спорить! Если вход будет платный, значит, заплатим. Это же наш последний День независимости перед армией». Не успел он договорить, как все посмотрели на меня, потому что только у меня были водительские права и родительская машина. Я согласился, но поставил условие: выезжаем пораньше, потому что я не люблю садиться за руль уставшим, и Черчилль похлопал меня по плечу и сказал: «Как скажешь, Фрид», но, когда я за ним заехал, он был даже не одет; Офир, которого мы должны были подобрать следующим, дремал перед телевизором – заснул за фильмом Феллини, – так что пришлось чуть ли не за волосы стаскивать его с дивана и вливать в него две чашки растворимого кофе, а Амихай вообще решил остаться дома помогать брату готовиться к экзамену и передумал, лишь когда Черчилль объяснил ему, что не отметить День независимости – это все равно что плюнуть своей стране в лицо. В конце концов Амихай сдался, но мы еще ждали, пока он примет душ и подберет одежду, которая более или менее скроет лиловое пятно на шее, появившееся у него после того, как его отец подорвался в Ливане на мине. Под определенным углом это пятно напоминало карту Израиля, что помимо воли Амихая превратило его в наглядное пособие по граждановедению и внушило ему вечный комплекс по поводу его внешности. В тот вечер он перепробовал три рубашки и три пары брюк в тон, пока не нашел сочетание, которое его устраивало, и в результате мы двинулись на юг только в час ночи. Черчилль уверял, что беспокоиться не о чем, потому что в Тель-Авиве все начинается поздно, а когда мы добрались до развязки Глилот и застряли в жуткой пробке, заявил: «Ну ясно, народ ломанул на праздник на площади. Чую, это будет нечто», но пробка не рассасывалась, и по радио передали, что на шоссе Намир произошла авария и «движение в этом районе затруднено». «А мы сейчас разве не на шоссе Намир?» – спросил Офир, а Амихай ответил: «Ты чего? Это Хайфское шоссе». – «Дебил, – сказал Офир, – шоссе Намир и Хайфское шоссе – это одно и то же». – «Сам дебил, – огрызнулся Амихай, – зачем одну и ту же дорогу называть двумя разными именами?» Пока они орали, Черчилль наклонился ко мне и шепнул: «Сверни направо». Я свернул. Он попросил меня припарковаться на тротуаре и сказал: «Ладно, дальше пойдем пешком, вряд ли тут далеко!» – вылез из машины, хлопнул дверцей и зашагал к далеким огням большого незнакомого города, а мы поплелись за ним, понятия не имея, куда идем.

Мы миновали кварталы многоэтажных домов с мраморными подъездами и подземными стоянками и кварталы низеньких строений без мраморных подъездов и подземных стоянок, и на всем пути нам не встретилось ни единой живой души, если не считать нескольких испуганных девушек в мини-юбках, которых Черчилль назвал телками. «Офигеть, сколько в этом городе телок», – сказал он, и Офир тоном бывалого повесы ему поддакнул: «Это ты еще ничего не видел, братан, вот доберемся до площади, придется тебе надеть солнечные очки, чтобы не ослепнуть», но, когда мы, потные и измочаленные после полуторачасовой ходьбы, все-таки добрались до площади, там было совершенно пусто, только маячил одинокий пикетчик с табличкой «Долой оккупацию». Это было перед самым призывом, и мы понятия не имели, какую оккупацию он имеет в виду, а потому просто спросили его, был ли тут праздник, и он ответил, что нет, никакого праздника не было, да и с чего бы ему быть. «Как не было? – удивился Офир. – Быть того не может! – Он повернулся к нам: – Клянусь, я сам читал, что…» – «Где ты про это читал – в порножурнале?» – съязвил Амихай. «Да нет, – стоял на своем Офир, – говорю вам, я читал про это в газете „Едиот ахронот“, в приложении „Семь дней“». – «Ну ты и баран, Офир! – засмеялся Амихай. – В „Семи днях“ печатают интервью с отставными генералами и футболистами. Про концерты и прочие фестивали пишут в приложении „Семь ночей“!» Я посмотрел на часы, подумал, что мне еще везти всех домой, и сказал: «Уже четыре утра. Может, пора возвращаться?» Но Черчилль бросил на меня испепеляющий взгляд: «Возвращаться? Ты что, рехнулся? Сегодня же День независимости! Мы обязаны найти гулянку! Обязаны!»

«Слушайте, ребята, – заныл Амихай. – Я умираю как пить хочу… – И тут же добавил: – У меня идея! Давайте зайдем куда-нибудь, купим попить?» Но Черчилль сказал: «Нет» – и зашагал вперед, а мы потащились за ним, как всегда тащились за ним, и не только потому, что побаивались его, но и потому, что чуяли в нем ненасытную жажду жизни, заразительно прекрасную, будящую в душе радость; и действительно, после короткой прогулки по улице Фришмана – Амихай утверждал, что она названа в честь баскетболиста тель-авивского «Хапоэля» Амоса Фришмана, на что Офир возразил, что это чушь, потому что Амос Фришман жив, а улицы в честь живых не называют, – мы услышали звуки танцевальной музыки, доносившиеся из окна какой-то квартиры, и Черчилль сказал: «О! Вот туда мы и пойдем!» – «Ты что? – сказал Амихай. – Мы же там никого не знаем», но Черчилль объяснил, что в этом и есть фокус: раз в этом городе никто нас не знает, мы можем назваться кем угодно. «В крайнем случае, если начнут спрашивать, – предложил Офир, – скажем, что мы друзья Дани. Это имя и мужское, и женское, и вообще интернациональное». Я снова взглянул на часы и подумал, что после Хадеры идет прямой однообразный кусок дороги, на

котором ничего не стоит заснуть за рулем, кроме того, что врываться без приглашения на чужую вечеринку неловко и даже унизительно, но все же поплелся за ними по лестнице на третий этаж, зажимая нос, чтобы не блевануть от запаха мочи, пропитавшего стены, ступеньки и окна. «Интересно, какие у них вечеринки, – думал я, – наверняка не такие, как у нас. Они, наверное, и танцуют по-другому», но тут Черчилль нажал на кнопку звонка, раздалась механическая птичья трель, дверь, из-за которой неслась музыка, открылась, и оказалось, что никакой вечеринки нет, а есть только девица с растрепанными волосами и глубоким декольте; девица смерила нас мертвым и в то же время изголодавшимся по любви взглядом, – теперь, когда я двенадцать лет прожил в этом городе, он мне отлично знаком, но тогда ошеломил меня скрытым в нем внутренним противоречием.

«Вам чего?» – спросила девица и одной рукой собрала волосы в непослушный хвост. Она говорила на удивление деловым тоном, как будто звонок в дверь в полпятого утра для нее – обычное дело. Как будто она официантка в кафе, а мы – посетители. «Мы приятели Дани…» – начал было Офир, но Черчилль перебил его: «На самом деле мы услышали с улицы музыку, вот и подумали, что здесь вечеринка». – «Вечеринка? – Девушка оглядела Черчилля с головы до ног, чуть дольше, чем нужно, задержавшись на его широкой груди. – Вообще-то здесь и правда вечеринка, но… для своих». – «Только для своих». – Черчилль улыбнулся, указав рукой на пустое пространство позади нее. «Именно, – улыбнулась в ответ девица. – Исключительно для своих. Это очень точное определение». – «А скажите, пожалуйста… – спросил Черчилль, который стоял, прислонившись к дверному косяку. – Нельзя ли и нам войти в число „своих“?» Девица распустила волосы, потом снова собрала их в хвост и сказала: «Не знаю. Я с вами не знакома». – «Ну, это не проблема, – сказал Черчилль. – Я Йоав. А это мои друзья из летной школы: Офир, Амихай и Юваль». – «Из летной школы?» – переспросила девушка без особого удивления, как будто уже тысячу раз слышала подобное вранье. «Ну да, – сказал Черчилль. – У нас увольнительная на сорок восемь часов. Мы полночи искали, где бы потанцевать, и ничего не нашли. Пока не пришли сюда. К тебе».

«Понятия не имею, как тебе это удалось, Йоав, но ты пробудил во мне сочувствие», – сказала девица и отступила назад, пропуская нас. Проходя мимо нее, я чуть задел локтем ее бедро и почувствовал запах ее духов, совсем не похожих на те, которыми прыскались девчонки у нас в Хайфе, и меня охватило желание на несколько секунд уткнуться головой ей в грудь и втянуть в себя этот горьковатый аромат. Через две композиции она увлекла Черчилля в спальню, а мы втроем остались в гостиной. Какое-то время мы топтались, изображая танец,

пока не поняли, как по-дурацки выглядим, убавили громкость и сели на черный кожаный диван посреди гостиной. Амихай подкрался к полуоткрытой двери спальни и воскликнул: «Вот это сцена!» – «Прямо кино», – добавил Офир, а я сказал: «Офир, может, включишь ее в свой фильм?» – потому что задолго до того, как загадать желание издать к следующему чемпионату книгу рассказов, Офир говорил, что после армии обязательно снимет фильм про нашу четверку, нечто в стиле «Блюза уходящего лета», и, когда мы ходили на пляж, время от времени брал с собой видеокамеру и снимал, как мы играем в волейбол или бросаемся грудью на волны, утверждая, что «собирает материал», и мы не сомневались, что он действительно снимет фильм, потому что Офир, бесспорно, обладал ярким талантом и сочинял сценарии ко всем спектаклям, которые мы ставили в школе и в скаутском лагере к празднику Пурим, а в выпускном классе занял второе место на национальном конкурсе сценаристов – первое досталось парню из школы Телмы Елин, и фамилия этого парня подозрительно совпала с фамилией одного из членов жюри.

«Вставить в фильм сцену наподобие этой – недурная идея, Фрид, – сказал Офир, похлопав меня по плечу. – Очень даже недурная. Но… ничего не выйдет, если один из нас не погибнет в армии. Кто-то должен погибнуть во время службы, – вздохнул он, – иначе не будет никакого фильма». – «Это еще почему?» – возмутился Амихай, возможно, потому, что его отец действительно погиб в армии, на что Офир в очередной раз ответил своим излюбленным аргументом: со дня основания Государства Израиль в любом претендующем на успех израильском фильме или книге непременно выведен персонаж – солдат, который в конце концов погибает, и эпизод его гибели – всегда самый волнующий в фильме или в книге. Звилич в «Блюзе». Ури в «Он шел полями». Йорам Гаон в «Операции „Йонатан“». Приводя эти примеры, Офир загибал пальцы, после чего вспомнил и другие, и разглагольствовал, пока Амихай не заснул. Успокоился он, только когда я пообещал, что, если вдруг никто из нас не погибнет в армии, я возьму эту миссию на себя. После этого Офир опустил голову на крепкое плечо своего вечного противника в спорах, и я остался один бодрствовать в гостиной девицы. Я понятия не имел, как ее зовут, зато знал, какие звуки она издает в момент оргазма. Возможно, притворные.

Я встал с дивана и обошел ее квартиру, не похожую ни на одну из виденных мною ранее, как и ни на одну из тех, о каких я мечтал. На стенах висели огромные картины, написанные кричаще яркими красками. Не репродукции за пятьдесят шекелей, а настоящая живопись. У меня сложилось впечатление, не подкрепленное никакими доказательствами, что они принадлежат кисти хозяйки квартиры. На книжных полках стояли на редкость уродливые фигурки

из папье-маше – я заподозрил, что их слепила тоже она. Среди книг мне не попалось ни одного знакомого названия, за исключением «Маленького принца», и я почувствовал себя полным невеждой. В основном там были альбомы по искусству и сборники стихов и всего несколько романов. Я снял с полки небольшую книжку. «Давид Авидан. Стихи о любви и сексе» – значилось на обложке, и я вспомнил, что наш учитель литературы пару раз упоминал это имя, но ни одного произведения Давида Авидана мы не разбирали. Первое стихотворение я прочитал стоя, а потом уже не мог сесть. «Женщина так красива, мужчина такой урод, и она его жена. Грех» – эти строки меня словно оглушили. «Две секс-игрушки» – так называлось стихотворение на следующей странице. Я не знал, нравятся ли мне эти стихи, но не мог перестать перекатывать на языке удивительные словосочетания: «маленький надежный зверек секса», «мощный миг слабости», «он встал, готовый к путешествию». Некоторые из стихотворений я даже переписал на листок, который нашел на кухне, чтобы потом, по дороге домой, показать Черчиллю и узнать его мнение.

Он сказал, что «это настоящий позор, что такие стихи не включены в учебную программу» и что «училки литературы предпочитают говорить про мертвых поэтов, потому что у них есть соответствующие методички». Еще он сказал, что это в духе Аталии – так звали тель-авивскую девицу – держать у себя такую книгу. «Почему?» – спросил я, потому что по тону Черчилля понял: он хочет, чтобы я задал ему этот вопрос, тогда он, во власти посткоитальной эйфории, открыл окно машины, выставил наружу локоть и рассказал, что у Аталии уже несколько лет роман с женатым мужчиной, и за пару часов до нашего приезда он сообщил ей, что сегодня ночью не сможет, как обещал, улизнуть из дома, Аталия разозлилась и начала танцевать, чтобы не лопнуть от ярости или, того хуже, не выпрыгнуть из окна, и тут в дверь постучали мы, такие чистые и наивные, в джинсах и футболках, и она почувствовала, что должна прикоснуться к этой сладкой невинности, которую постепенно утрачивала, по мере того как ее роман с этим мужчиной все больше увязал в паутине лжи, но она не могла от него отказаться, потому что если бы она его бросила, то осталась бы одна, в смысле совсем-совсем одна.

Черчилль продолжил в мельчайших подробностях описывать все, о чем они говорили и чем занимались в спальне, а я его не останавливал, потому что его рассказ меня возбуждал и помогал не заснуть за рулем и преодолеть кусок дороги после Хадеры; когда мы выбрались на улицу Фрейда и солнце покрыло гору Кармель тусклой позолотой, он сказал:

– Смотри, Фрид, на дороге, кроме нас, ни души. Это мертвый город. Совершенно мертвый. Мы должны убраться отсюда сразу после дембеля. Если мы этого не сделаем, то через несколько лет растворимся в пейзаже.

– Растворимся в пейзаже?

– Станем как все, – пояснил Черчилль. – Будем таскаться из дома на работу, с работы домой. Отрастим пузо, возьмем ипотеку. Мы не имеем права так поступить. Не имеем права!

– Ладно, Черчилль, – сказал я. – Договорились.

Но этого ему показалось мало, и, после того как мы высадили Офира и Амихая, он заставил меня поклясться, что после армии я перееду с ним в Тель-Авив, потому что без меня у него «не хватит духу».

Меня удивило, что великий Черчилль так во мне нуждается, и было странно давать клятву на четыре года вперед, не говоря о том, что два часа назад я пообещал Офиру, что ради его фильма погибну в армии. Но Черчилль заявил, что не выйдет из машины, пока я не поклянусь, а я жутко устал после этого Дня независимости, поэтому я ему поклялся, а у нас, бывших подданных Британской империи, с этим не шутят: пятичасовой чай – это пятичасовой чай, а данное слово – это данное слово. Таким образом, через три месяца после окончания армейской службы я явился к Черчиллю и сел смотреть объявления «Ищу соседа для совместного съема квартиры», которые он принес для меня из студенческого профсоюза; за все годы, что прошли с того дня, я ни в одной из шести тель-авивских квартир, в которых жил, ни разу не почувствовал себя как дома; с другой стороны, со временем я перестал ощущать себя залетным гостем и даже начал испытывать привязанность к некоторым местам, где мы тусовались вчетвером, – например, к дальнему берегу Яркона, или к шумной площади перед «Синематекой», или к американской колонии на пути в Яффу, – но даже эти слабые привязанности поблекли и постепенно сошли на нет после истории с Яарой.

Без моих хайфских друзей широкие улицы большого города снова стали казаться мне тупиками, побережье сделалось похожим на лобби отеля, а люди, прогуливающиеся по променаду, превратились в чужаков. Их жизнерадостность представлялась мне фальшивой. Прагматичной. Жалкой. Я презирал их и

одновременно им завидовал. Я чувствовал, что я чище, чем они. Глубже, чем они. В то же время в них угадывалась благотворная легкость, которой мне никогда не достичь по той простой причине, что я навсегда останусь парнем из Хайфы.

Я умирал от желания узнать, скучают ли по мне ребята, когда на праздник Лаг-ба-Омер разводят традиционный костер. Когда в День памяти смотрят «Блюз уходящего лета». Я открыл, как это скучно и грустно – в одиночку смотреть футбол, особенно израильский. Я убедился, что в моем возрасте трудно заводить новых друзей. Я пытался завязать приятельские отношения с некоторыми из своих клиентов, а кое с кем даже ходил в ирландский паб неподалеку от пляжа. Но из этого ничего не вышло. Слишком многое приходилось объяснять – вместо того чтобы быть понятым с полуслова. От этих встреч слишком веяло корыстью. Плюс у всех был напряженный рабочий график (видимо, не случайно дружба обычно зарождается в школе или на экскурсиях. Чтобы с кем-то сблизиться, нужно располагать свободным временем).

По большей части эти посиделки в пабах только усиливали мою тоску по старым друзьям.

И больше всего – по Черчиллю.

По окончании бакалавриата мы с ним предприняли долгое путешествие по Южной Америке. Офир только поступил на работу в рекламное агентство и боялся, что, если попросит слишком большой отпуск, его уволят; печальная Илана уже была беременна близнецами, соответственно, Амихай тоже отпадал, так что остались только Черчилль и я. Я и Черчилль. Ночью. Днем. В провонявших мочой комнатушках. На многоцветных индейских базарах. На автобусных станциях, где за отсутствием расписания ожидание автобуса растягивалось на несколько часов, а переезд из города в город – на несколько дней.

В подобном путешествии тебе открывается истинный характер спутника, как и ему твой. Дома его можно скрыть, приукрасить; сгладить острые углы. Но в долгой поездке все вылезает наружу. Всплывает на поверхность. Обнажается.

Я, например, никогда не догадывался, насколько Черчилль зависит от чужого внимания. Мне всегда казалось, что у него на лбу написано: я иду своей дорогой, и попутчики мне не требуются. Только в этой поездке я впервые осознал, как

отчаянно он нуждается в обратной связи с окружающими. Если в течение нескольких дней мы не встречали новых людей, он увядал. Плечи у него опускались. Он даже начинал запинаться, разговаривая.

Со своей стороны, Черчилль и вообразить себе не мог, до чего я помешан на порядке. В каждой убогой дыре, которую мы снимали, я пытался навести хоть какой-то уют. Когда он швырял одежду на пол, я нудел, словно я его мамаша, и это так его бесило, что в определенный момент мы решили, что ради спасения нашей дружбы будем ночевать в разных комнатах, пусть это и обойдется дороже. Его выводило из себя, что я не в состоянии ни с кем общаться, пока не выпью свой утренний чай с молоком. А меня доставали его нескончаемые придирки к местным. «Посмотри, сколько у них природных ресурсов, – говорил он, указывая из окна автобуса на каскады водопадов. – Просто невероятно, что они их не используют!» Дай ты мне спокойно полюбоваться природой, думал я, слегка отодвигаясь от него, но Черчилль не унимался: «Неудивительно, что они такие бедные. Им лень лишний раз жопу поднять. Они сами не хотят изменить свою жизнь».

Первые несколько недель я с ним еще спорил («Может, это их образ жизни? Может, им так нравится?»), но потом слушал его брюзжание молча («Нет, ты видел, какая жуткая дорога? Что, так трудно отремонтировать? Это не образ жизни, это обычная лень») и молил бога, чтобы он наконец заткнулся. Или доставал кого-нибудь другого в автобусе.

Несмотря ни на что, за всю поездку мы не расставались больше чем на сутки. И, несмотря ни на что, по возвращении домой еще больше сблизились. Возможно, потому что, как утверждает Аристотель, нельзя как следует узнать своего друга, пока не разделишь с ним соль, а возможно, потому, что каждому из нас это путешествие дало шанс убедиться, что мы можем рассчитывать друг на друга.

Вернувшись в Израиль, Черчилль рассказал всем, что я спас ему жизнь, когда он выпил сан-педро. На мой взгляд, он слегка преувеличивал. На самом деле через восемь часов после того, как он покинул ранчо с пакетом кактусового сока, который индейцы используют для общения с богами, я всего лишь пошел проверить, все ли с ним в порядке. Любой друг на моем месте поступил бы так же. Черчилль говорил, что собирается выпить этот сок, но беспокоиться не о чем, потому что на него эта штука точно не подействует. Я ему поверил. В конце концов, это был Черчилль. Отправляясь на его поиски, я был уверен, что

обнаружу его в пруду возле ранчо, где он плавает нагишом с парой израильских девчонок.

Нашел я его и правда голым. Но без девчонок. Весь в блевотине, он безуспешно боролся с приступом острой паранойи. Как выяснилось, раздеться ему приказали боги. Они же внушили ему, что холм, на котором мы стоим, наводнен тиграми с лошадиными головами. И что каждое произнесенное им слово громовыми раскатами разносится по всему земному шару. Он испугался, что его услышат родители. Вообще-то они были дома, но, как только его вырвало, явились сюда. Он тут же высказал отцу все, что думает про него и про его баб. Сейчас он трясся от страха. Но боялся он не отца, а индейских богов, которые злились на него, и он не мог понять за что. Еще его мучила жажда, как будто он сорок лет ходил по пустыне, но он чувствовал, что не способен проглотить ни капли, а потому просил меня попить за него, то есть вместо него.

Я открыл бутылку воды и сунул ему в рот. Потом помог ему одеться и поволок обратно на ранчо. Я ухаживал за ним и ждал, когда начнет ослабевать действие наркотика, поил его и кормил. Ночью, когда мне показалось, что Черчилль приходит в себя, его снова охватил панический страх: он боялся заснуть, потому что, пробудившись, перестанет различать реальность и сон. Я пообещал, что стану для него якорем реальности – если усомнится, пусть зовет меня. В ту ночь он подзывал дюжину раз. Я вставал, подходил к его кровати и гладил его по голове, пока он снова не засыпал.

– Я хочу, чтобы ты знал, амиго, я в жизни тебе этого не забуду, – сказал Черчилль два дня спустя в фургоне, который вез нас обратно в город. Мы сидели, опираясь на рюкзаки, и солнце ласкало наши обнаженные торсы.

– Да ладно, фигня, – сказал я.

– Ничего не фигня, – настаивал он. – Если бы ты не вышел меня искать, у меня бы случилось обезвоживание. В лучшем случае. А в худшем проходили бы мимо бандитос, отрезали бы мне яйцас, а на десерт пристрелили бы меня, в смысле пристрелимос.

– Не преувеличивай, – попросил я.

– Я не преувеличиваю, – уперся он.

– Я все равно был должен тебе за Куско, – напомнил я.

– Ну вот это уж точно фигня, – сказал он.

* * *

Это была не фигня. Ни с моей точки зрения, ни с точки зрения местного врача (по совместительству – местного аптекаря, а также местного турагента, а также единственного в городке человека, который говорил по-английски). Он осматривал меня в аптечной кладовке, забитой пустыми картонными коробками: меня бил озноб, термометр показывал 39,4 градуса. «У вас гринго-лихорадка», – сказал он и объяснил, что это болезнь, от которой в основном страдают туристы. Лекарств от нее не существует, а продолжаться она может от недели до месяца. Единственный способ лечения – лечь в постель и терпеливо ждать, пока не поправишься. «А ты, big gay[1 - Здоровяк (англ.). – Здесь и далее, если не указано иное, – прим. ред.], – сказал он Черчиллю, – не отходи от друга. Следи, чтобы он больше пил, и каждые несколько часов измеряй температуру. Если поднимется до сорока, немедленно позвони мне, потому что это будет означать, что болезнь перешла во вторую стадию».

Черчилль скрупулезно следовал указаниям доктора.

В конце первой недели он встретил в одной из posada[2 - Гостиница (исп.).] свою однокашницу Керен. В университете у нее был парень, но теперь она была свободна. Они с Черчиллем вместе завтракали, а по ночам, когда я засыпал, ходили развлекаться.

Черчилль рассказывал о ней с воодушевлением. На самом деле раньше я никогда не слышал, чтобы он так отзывался о какой-нибудь девушке. «В этой Керен что-то есть, – говорил он. – Какая-то тайна».

Через несколько дней она внезапно исчезла из его рассказов. Я спросил почему, и он ответил, что она уехала. Продолжила свое путешествие.

– Что ж ты не поехал с ней? – спросил я.

– Я просил ее подождать, пока ты не поправишься, а потом поехать вместе. А она сказала: «Что должно случиться, случится» и «Если нам суждено еще раз встретиться, мы встретимся».

– Жалко, что ты с ней не поехал. В ней же была тайна.

– Да какая на хрен тайна! – сердито огрызнулся Черчилль. – Просто выпендривалась, чтобы меня завести.

Я промолчал. То, как Черчилль выплюнул это «на хрен», доказывало, что расставание с Керен далось ему совсем не легко.

Термометр запищал, и Черчилль вынул его у меня изо рта.

– Дела налаживаются, – сообщил он. – Тридцать восемь и шесть. – И после небольшой паузы добавил, как бы про себя: – Телки приходят и уходят. А друзья остаются.

* * *

Я напомнил Черчиллю эти его слова, когда он позвонил мне и признался насчет Яары.

Он промолчал. Не стал врать, что ничего такого не говорил. Не утверждал, что я вырвал цитату из контекста.

Я продолжал напоминать ему эту фразу даже в мысленных разговорах, которые вел с ним. «Что случилось? – спрашивал я его. – Что изменилось за три года, прошедшие со времени той поездки? У тебя теперь другие приоритеты или ты просто превратился в говнюка?»

Он не отвечал. Такова особенность мысленных диалогов: ты можешь вывалить на собеседника сколько угодно грязи, а он в ответ – ни гугу. Я желал ему отныне и всегда проигрывать все свои процессы, и не просто проигрывать, а самым позорным образом. Например, потому, что он не подготовил как следует свидетелей. Или потерял главное вещественное доказательство. Или адвокат защиты огорошил его отсылкой к статье закона, известной каждому судебному

клерку, и теперь ему предстоит объясняться с окружным прокурором, покаянно глядя в пол.

Я желал ему всего этого и… скучал по нему. По огню, который в нем горел и зажигал других. По его манере целиком отдаваться беседе с другом независимо от того, насколько он был занят. Или расстроен. Или устал. По быстрому веселому взгляду, каким он встречал высказанную мной неординарную мысль, показывая, что он точно понимает, что я имею в виду, что он тоже видел этот фильм, читал эту книгу или, как и я, чувствует комизм ситуации, которую все остальные воспринимают всерьез.

Именно с такого взгляда и началась наша дружба. Это была неделя подготовки к армейской службе в одиннадцатом классе. Весь наш поток отправили в лагерь на юге, и на протяжении пяти дней мы играли в солдатиков. На нас надели форму. Нас разделили на взводы. Нам, как новичкам, устраивали розыгрыши. На нас налагали дисциплинарные взыскания. Мы все безропотно подчинились новому порядку. Точнее говоря, почти все. Лишь немногие из ребят, подходя к окну казармы, возмущались: «Если надо отслужить в армии, значит, надо, не вопрос. Но зачем нас согнали сюда посреди учебного года?»

«Как думаете, нас отпустят на Шаббат?» – спросил я во время обеденного перерыва, но никто не понял моей шутки. Кроме Черчилля. «Я определенно думаю, – подражая решительному тону наголо бритого командира нашего взвода, сказал он, – что это практически… не исключено!» – и улыбнулся мне одними глазами, а когда перерыв закончился, предложил мне, и только мне, пропустить вместе с ним следующее построение. Я заколебался (одно дело смеяться над дисциплиной, и совсем другое – ее нарушать), и тогда Черчилль сказал, что он специально проверил: у армейского командования нет над нами никакой законной власти. «Собственно говоря, если мы не явимся на построение, они ничего не могут нам сделать. Вообще ничего».

Меня это убедило, и я остался с ним в столовой. В этом нашем поступке был привкус бунта. Мы ели шоколадные батончики и болтали о том, что Рона Равив даже в военной форме выглядит потрясно, что фильм «Дюна» в подметки не годится книге, что лучше учиться водить на механике, чем на автомате. Говорил по большей части Черчилль, но если уж я раскрывал рот, он слушал меня очень внимательно, что побуждало меня к откровенности. Я сам не заметил, как признался, что раз в неделю играю в шахматы в стариковском клубе. Он не стал ерничать, а попросил меня сыграть против него в Шаббат. «Если нас отпустят», –

напомнил я, и он снова рассмеялся. А я подумал, что с его стороны это великодушно – дважды посмеяться над одной средненькой хохмой. В Шаббат мы встретились и сыграли, а потом он уговорил меня сходить с ним в паб «Маленькая Хайфа», потому что в порту стоял авианосец Шестого флота и там наверняка было полно американских матросов в белой форме, которые, напившись, будут во всю глотку орать: «Bye bye, Miss American Pie», и где еще я такое увижу. После той субботы мы стали друзьями. У меня и до него были приятели, но все под стать мне самому: хмурые коротышки, которые на вечеринках лепятся к стенке, а на переменах читают научно-фантастические журналы; наизусть знают состав «Маккаби» (Хайфа), включая запасных игроков, но никогда не ходят на матчи; с завидным остроумием высмеивают все подряд, но начинают заикаться, стоит к ним обратиться девчонке.

Черчилль девчонок не боялся. Он вообще не боялся жизни и шел ей навстречу уверенной походкой, размахивая руками и не обращая внимания на развязавшиеся шнурки, и, хотя в глубине души я знал, что никогда не стану таким, как он, я верил – или хотел верить, – что постепенно, после многих часов, проведенных вместе с Черчиллем, толика его жизнелюбия передастся и мне и девушки перестанут казаться мне мраморными богинями. Что я отлеплюсь от стенки и присоединюсь к вечеринке.

* * *

После истории с Яарой я снова, как десять лет назад, будто прилип к стенке, вернувшись в свое привычное угрюмое одиночество.

Стыдно признаться, но я несколько раз подходил к телефону, намереваясь позвонить Черчиллю, а однажды даже начал набирать его номер. Я знал, что только он способен без лишних объяснений понять, почему я больше не могу смотреть на рекламные плакаты с красивыми женщинами в очках, почему, натыкаясь в переводимой статье на слово revelation, я отодвигаю в сторону стопку листов и почему после Яары свидание с любой девушкой оставляет у меня ощущение компромисса.

Но я также знал: трубку может снять она.

Поэтому я не звонил.

В один прекрасный день я ехал сдавать клиенту перевод и увидел их. Это было на улице Нахалата Биньямина, в квартале, где расположены магазины тканей; они сидели в машине перед красным светофором. Я не был уверен, что это они, поэтому убрал ногу с тормоза и позволил машине медленно прокатиться вперед – так скользит, разматываясь, ткань из рулона – и чуть не врезался в них, но и тогда не избавился от сомнений: все-таки я не виделся с ними уже два месяца. Но тут она своим привычным жестом сняла очки, он наклонился к ней, и они поцеловались. Светофор переключился на зеленый, но они не прервали поцелуя. Я мог бы им погудеть, я должен был им погудеть, но продолжал сидеть неподвижно и смотрел, как ее рука ерошит ему волосы, а его рука касается ее затылка, как она закрывает глаза и он закрывает глаза, как блестит на солнце ее плечо и его палец играет с прядкой ее карамельных волос, спускающихся до ключицы. Зеленый свет замигал, но я по-прежнему не нажимал на клаксон. Он продолжал ее целовать, и ее голова постепенно отклонялась назад, и я видел в воображении ее маленькие груди в вырезе блузки, но тут они перестали целоваться и просто сплелись в тесном жарком объятии, которое длилось, пока желтый не сменился на красный. Его крепкие руки сжимали ее тело, он опустил голову ей на грудь, ее плечо снова заблестело, он приподнял лицо, поцеловал ее в голое плечо и куснул его, сначала слегка, потом сильнее и глубже, а потом на мгновение поднял глаза и увидел, что светофор переключился на зеленый…

Они смеялись. Я почти слышал, как их смех рвется из окна машины. Они смеялись над своим легкомыслием, а может, Черчилль развеселил ее своей знаменитой пародией на радиорепортера, с борта вертолета – он изображал губами шум пропеллера – обозревающего ситуацию на дорогах и сообщающего слушателям, что целующаяся в машине парочка заблокировала движение на улице Нахалата Биньямина.

А может, он рассказал ей, какое желание я записал на своем листке. И именно над этим они смеялись, прежде чем тронуться с места.

Я подождал еще немного, не обращая внимания на громкие гудки сзади, – хотел убедиться, что они уехали достаточно далеко. Чем дальше, тем лучше. И только потом нажал на газ. Сердце у меня застыло. Окаменело.

* * *

Почти полгода я избегал друзей.

Я сопротивлялся мольбам Амихая, не перестававшего меня искушать («Финал Лиги чемпионов! На 40-дюймовом экране! Буреки, политые слезами Иланы!»).

Я держался даже, когда он перешел к угрозам («Если не придешь, мы сами к тебе придем. А если не откроешь дверь, мы ее взломаем…»).

Но когда он позвонил и сообщил, что с Офиром прямо на работе случился нервный срыв, моя решимость рухнула, как пирамида из груш в супермаркете, и я помчался в больницу Ихилов.

* * *

ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОЙ ДИССЕРТАЦИИ ЮВАЛЯ ФРИДА

«МЕТАМОРФОЗЫ: ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ, ИЗМЕНИВШИЕ СВОИ ВОЗЗРЕНИЯ»

Что заставило Витгенштейна, категорично утверждавшего, что слова имеют ценность только в том случае, если они отображают картину действительности, несколькими годами позже заявить: «Я ошибался, конкретная действительность ни при чем, а значение слов целиком определяется особой „языковой игрой“, в которой каждому из них отведена своя роль, поэтому, вопреки моим прежним утверждениям, неважно, в какой мере слова отражают мир; важен вопрос: что делают люди со словами».

Пришел ли Витгенштейн, как принято считать, к столь кардинальной смене мировоззрения в результате медленной постепенной метаморфозы, или в один прекрасный день он хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Gro?er Gott!»[3 - Великий Боже! (нем.)]? Когда произошел этот сдвиг: когда он строил в Вене дом для своей сестры или когда, не слишком любимый детьми учитель, давал очередной урок в начальной школе австрийской деревни? А может, озарение посетило его во время одного из теннисных матчей, которые он так любил использовать в качестве метафоры для иллюстрации своих идей? Я представляю себе, как в 1934 году он сидит на трибуне Уимблдона, на корте которого за звание чемпиона борются Фред Перри и Джек Кроуфорд. Головы зрителей, следуя за полетом белого мяча, поворачиваются то туда то сюда, то туда то

сюда. И вдруг одна голова замирает: Витгенштейн понял, что он ошибся.

Мне любопытно: слово «ошибка» вспыхнуло на экране его сознания до того, как его охватило смятение, или сначала его охватило смятение и только потом возникло слово «ошибка»?

Как много мужества требуется человеку, чтобы отречься от собственных идей? (Тем более от тех, которые стали достоянием общественности. Снискали восхищение поклонников. И создали Витгенштейну реноме среди интеллектуалов всей Европы.)

Какая отчаянная смелость и беспощадная честность перед собой нужна, чтобы человек от всего этого отказался? И начал все сначала?

2

На первой фотографии справа на стене моей гостиной мы с Офиром стоим спина к спине, держа в руках заправочные пистолеты, словно оружие. Как будто сейчас разойдемся на десять шагов, резко развернемся и начнем дуэль. На нас комбинезоны нефтяной компании, которые смотрятся, по крайней мере на мне, как маскарадный костюм. На заднем плане – гора Кармель, но в этом нет ничего необычного: где бы ты ни фотографировался в Хайфе, на заднем плане будет или Кармель, или море.

Через неделю после дембеля я присоединился к Офиру, который работал на автозаправке своего отца. Офир сказал, что эта работа относится к категории общественно значимых, и если мы на ней продержимся полгода, то получим армейскую стипендию. Кроме того, добавил он еще один аргумент, на станцию заруливает куча женщин в красных тачках, и некоторым из них очень нравятся комбинезоны заправщиков, которых они просят проверить не только уровень масла и воды, но и кое-что еще. Именно так его отец познакомился со своей второй женой. И с третьей тоже. Кстати, он и с матерью Офира познакомился, когда та заехала подкачать шины.

Через две недели нас с позором выгнали. Отец Офира сказал, что мы слишком медленно работаем и слишком много треплемся. Что эта работа – для настоящих мужчин, а не маменькиных сынков.

Честно говоря, я вздохнул с облегчением. Бензиновые пары не очень-то благотворно воздействовали на мою астму. А единственная женщина на красной машине, которая за эти две недели заехала на заправку, накричала на меня за то, что я не вымыл ей ветровое стекло.

Но Офир здорово огорчился. Он говорил, что больше всего его расстраивает облом с армейской стипендией, на которую он рассчитывал съездить в Таиланд. Но я знал, что для него вся эта история с автозаправкой была лишь очередной попыткой сблизиться с отцом.

Офир так и не отказался от этой идеи. Через год после нашего фиаско он снял с карты все деньги, которые копил на Таиланд, и пригласил отца в «мужской поход» по Восточной Турции. «Будем спать в палатке, готовить еду на костре, – изложил он мне свой план. – Наконец-то у нас будет шанс по-настоящему узнать друг друга!»

Первые тревожные звоночки прозвенели уже в аэропорту. Отец полагал, что садиться в самолет в порванных на коленях джинсах неприлично. Офир не понимал, зачем наряжаться в самолет. «Знаешь что? Поступай как хочешь, – буркнул отец, – но помни: своими штанами ты наносишь мне личное оскорбление». Офир пошел в туалет и переоделся, утешая себя тем, что всякое начало трудно. Но позже, когда они поднимались в горы, все стало только хуже. Отец возражал против долгих остановок, замедляющих скорость восхождения, тогда как Офир считал, что как раз эти минуты, когда ты скидываешь рюкзак, подставляя ветру потную спину, и созерцаешь красоты пейзажа, – лучшее, что есть в походе. «Знаешь что? – предложил отец. – Давай будем по очереди решать, на сколько останавливаемся». – «Отлично», – сказал Офир, а про себя подумал: ну наконец-то. Но когда они спустились в город купить припасов, снова начались проблемы. Отец не понимал, как можно ходить по незнакомому городу без карты, тогда как Офир, напротив, считал, что в том-то вся и прелесть, чтобы бродить по незнакомому городу без карты, просто бродить, впитывая в себя звуки, запахи и краски. «Знаешь что? Если я так уж мешаю тебе „впитывать“, давай дальше без меня», – проворчал отец, и Офир, которому за неделю мелочных перебранок все это надоело, сказал: «Знаешь что, папа? Именно так я и сделаю», и даже последний день путешествия они провели в Стамбуле

порознь.

В аэропорт они тоже ехали по отдельности, потому что Офир хотел вызвать такси, а отец сказал, что мать слишком его избаловала и что нечего транжирить деньги на такси, на что Офир ответил, что это его деньги и он сам решит, на что их потратить. То же самое продолжилось и в самолете – они то цапались, то молча дулись друг на друга, то цапались, то дулись, – пока отец Офира не встал и не пересел на другое место.

Но даже явная неудача с походом не сломила Офира. Он быстро оправился и, вооруженный новой идеей, предпринял еще одну попытку. «Моя ошибка заключалась в том, – объяснил он мне, – что я пытался заставить отца делать то, что нравится мне. Завтра я куплю модель самолета, а в Шаббат пойду к нему туда, ну, ты знаешь, на улицу Фрейда».

Каждое субботнее утро на пустыре у въезда в город (сегодня там вырос торговый центр) собирались отцы с детишками и запускали авиамодели. Когда Офир был ребенком, а его отец еще жил с ними, он несколько раз звал его туда с собой. Но Офир предпочитал остаться дома с матерью и поиграть в скребл, и даже годы спустя, когда третья жена отца родила двух дочек, он продолжал в одиночку ездить на пустырь, в одиночку запускать свой самолетик и слушать восторженные крики чужих детей.

– И круг восхитительным образом замкнется, – заявил Офир. – Я даже не стану его предупреждать, что приеду, пусть это будет для него сюрпризом. Отличная идея, тебе не кажется?

– Без сомнения, – согласился я.

Меня изумляло, что попытки сближения всегда исходят от Офира, но меня трогал его наивный энтузиазм. Я желал ему успеха.

– Посмотрел бы ты на моего отца, когда он увидел меня с самолетом! – взволнованно сообщил мне Офир по телефону в субботу вечером.

– Он удивился?

– Он был потрясен.

– А потом?

– Что потом?

– Ну, с самолетами?

– Э-э… понимаешь… Мой самолет слегка задел его, а он стоил десять тысяч шекелей. И оба упали. Отец сказал, что мне, пожалуй, лучше уйти. И что обломки он соберет без моей помощи. Но, честное слово, когда он меня увидел… у него было такое лицо… Он сказал, что ценит мой поступок. Очень высоко ценит. Короче, сегодня утром у меня родилась идея. Просто гениальная. Напротив его заправки открыли новую, и она переманивает его клиентов. Классическая проблема, которая решается средствами рекламы. Я поговорил с нашими дизайнерами, и они согласились сделать все бесплатно. Говорю тебе, ровно через месяц я организую ему такую кампанию, что он не только вернет себе старых клиентов, но и привлечет новых!

Офир полтора месяца корпел над этим проектом, придумал неотразимые по силе воздействия наклейки, плакаты, листовки и баннеры, но за день до официальной презентации…

У отца ужасно разболелась нижняя челюсть, и он попросил секретаршу записать его к стоматологу, а через час рухнул на ковер в своем кабинете и умер.

Инфаркт.

– Будь у него подписка на «Телемед», может, мы бы его спасли, – шепнул мне Амихай на похоронах.

Офиру оставалось лишь скользить игрушечным самолетиком над пропастью, всегда зиявшей между ним и отцом, и мучиться неразрешимыми вопросами: мог бы он с помощью гениальной рекламной кампании добиться успеха там, где потерпели крах все его предыдущие попытки, и почему вообще, черт возьми, он был должен готовить эту кампанию, почему отец не любил его просто так?

* * *

Когда я приехал в больницу к Офиру, остальные уже сидели у дверей его палаты.

Черчилль, Амихай с огромным магнитофоном в руках, печальная Илана и парень из рекламного агентства, разговаривавший по мобильному.

В воздухе пахло куриным супом. По телевизору, включенному на первый канал, мужик в белом фартуке объяснял, как готовить говяжьи фрикадельки в соусе терияки.

Мои ноги вросли в пол. Я не мог двинуться ни вперед, ни назад. При виде друзей меня захлестнула теплая волна счастья, но одновременно к горлу подступила горечь от копившейся полгода обиды и охватило инстинктивное отвращение к Черчиллю.

Инициативу взял на себя Амихай, который подошел ко мне вместе со своим магнитофоном. Черчилль держался сзади, на безопасном расстоянии.

– С ним в палате мать, – объяснил Амихай. – Когда она выйдет, впустят нас.

– Как он? – спросил я, стараясь смотреть только на Амихая.

– Похоже, жить будет, – ответил он.

– А как… В смысле, что за нервный срыв с ним случился?

– Два месяца назад ему предложили повышение по службе. Топ-менеджерскую должность. Он к ней не рвался. Несколько раз говорил нам, что не хочет никем руководить. Что после семи лет работы в восьми разных агентствах пришел к выводу, что реклама только манипулирует людьми, заставляя их покупать ненужные им вещи, и, если он сам не верит в важность своей работы, как он может убеждать в этом других?

– Понятно, – сказал я, глуша в душе разочарование от того, что не участвовал в этих разговорах. – А что было дальше?

– А дальше начались странности, – сказал Амихай, щелкая кнопками магнитофона. – Две недели он выедал нам мозг рассказами о «манипуляции», а потом позвонил Черчиллю и сказал: «Ну все, чувак, поздравь меня».

– Я, конечно, сказал «Поздравляю», – наконец вступил Черчилль, избегая смотреть мне в глаза, – но было бы неплохо, если бы я знал, с чем именно. И тут он гордо заявляет: «Ты разговариваешь с новым креативным директором „Шерацки-Шидлацки“».

– Ну и ну! – удивился я.

Черчилль с Амихаем кивнули.

– Погодите, но что же все-таки с этим нервным срывом? И вообще, что это такое – нервный срыв?

– На профессиональном жаргоне это называется «психотическим эпизодом», – вступила печальная Илана. – Почти пятьдесят процентов мужчин в Соединенных Штатах хотя бы раз в жизни переживали нервный срыв. Кроме того, следует помнить, что огромное число мужчин никому не сообщают о том, что у них был срыв.

– Это ведь твоя специальность? – повернулся я к ней.

У Иланы загорелись глаза. Щеки раскраснелись. Мне показалось, даже грудь слегка приподнялась.

– Вам должно быть известно, – спокойно и авторитетно сказала она, – что в последнее время Офир находился в состоянии сильного стресса. С учетом эмоциональной нестабильности, корни которой тянутся из детства, подобный исход был практически предопределен.

– Конечно, – согласились мы.

Я заметил, что Черчилль набрал в грудь воздуха, намереваясь ей возразить, и я заранее догадывался, что именно он скажет: «Каждый мелкий преступник оправдывает свои правонарушения жестоким обращением в детстве, и этот

детерминизм – последнее прибежище негодяя. Но возьмите пример Австралии, которая была заселена каторжниками и детьми каторжников. Так вот, вопреки предположениям, основанным на детерминистской гипотезе, уровень преступности там один из самых низких в мире…»

Но он проглотил свою тираду.

– Есть и хорошая новость, – продолжила Илана. – В большинстве случаев нескольких дней покоя достаточно для того, чтобы последствия нервного срыва, аналогичного тому, который пережил Офир, исчезли без следа. Не вижу причин, почему бы с ним произошло по-другому.

Из палаты вышла мать Офира. Она направилась прямо ко мне, минуя остальных. Она много лет проработала администратором в больнице, но год назад решила пойти на курсы менеджмента. Ее нынешний спутник жизни активно ее отговаривал, с насмешкой повторяя, что бессмысленно в ее возрасте начинать осваивать новую профессию и что в любом случае она потом не найдет себе работу. Но она не сдалась, даже когда выяснила, что единственные курсы, на которые она могла записаться, набирают группу в одном из далеких кибуцев. По просьбе Офира я помог ей сориентироваться в лабиринте академической бюрократии, и с тех пор она питала ко мне особую приязнь.

– Как хорошо, что вы пришли, – сказала она.

– Мы за него беспокоимся, – ответил я («быстро же ты вернулся к этому мы!» – мелькнуло у меня).

– Идите к нему. Он вас ждет.

* * *

Офир лежал на койке, белый, как одиннадцатиметровая отметка. Из-под одеяла торчали его ступни, плоские и длинные, как ласты. Светлые кудри, из-за которых девчонки считали его жителем мошава и наследником фермы, доставшейся его родителям от их предков, прилипли к голове. На его лице застыла незнакомая мне печаль.

Я наклонился его обнять. В последний раз он прижимался ко мне так, что кололись кости, на похоронах своего отца.

– Ну я и развалина! – сказал он, когда я его отпустил.

– Есть немного, – улыбнулся я.

– Что-то во мне поломалось. Что-то существенное поломалось к хренам.

– Не дури! – сказал Амихай.

– Не гони! – подхватил Черчилль.

– У каждого из нас свой изъян, – сказал я. – Просто потому, что все мы люди, все мы человеки.

– Я соскучился по твоим перлам, – устало улыбнулся мне Офир.

– Я тоже по тебе скучал.

– Знаешь, – шепнул он мне, – ты малость перебрал. Ты правильно на нас разозлился. Но не на полгода же?

Я кивнул, соглашаясь.

– Жалко, очень жалко, что ты перестал ценить то, что имеешь, – продолжал упрекать меня Офир, и складывалось впечатление, что он относит эти слова и к себе. – Нет, правда жалко, потому что ты даже себе не представляешь… – И, не допев до конца свой знаменитый припев, он уснул.

Нет ничего удивительного в том, что чужие разглагольствования действуют на людей усыпляюще. Однажды я и сам задремал во время инструктажа на тему «Параллельная работа», проводимого командиром нашего соединения, из-за чего был немедленно отчислен с офицерских курсов. Это поставило крест на блестящей военной карьере, которую мне пророчил отец – правда, только он один. Но я в жизни не видел, чтобы человек отрубился посреди собственной речи, не успев закрыть рта.

Медсестра, высокая и тощая, как пробирка, объяснила, что у Офира упадок сил. И что сейчас он больше всего нуждается в отдыхе.

Амихай поставил магнитофон на тумбочку и спросил, можно ли включить для Офира одну запись.

– Не думаю, что это разумно, – сказала медсестра, бросив на магнитофон враждебный взгляд.

– Ну почему же? – возразил Амихай. – Мы специально принесли эту запись, чтобы его подбодрить.

– Извините, но нет. Это против больничных правил.

Амихай со скорбным видом убрал магнитофон. (Возможно, именно в этот день семя, из которого проросло то, что двумя годами позже прославило его на весь Израиль, упало в благодатную почву. Возможно…)

Но на лицах печальной Иланы и Черчилля читалось огромное облегчение.

Только потом, в кафе на нижнем этаже больницы, они объяснили мне, от чего нас спасла медсестра. Амихай нашел у себя на антресолях старую коробку, в которой хранилась кассета с записью песенки, сочиненной Офиром на мотив Big in Japan и посвященной нашему учителю химии. Мы спели ее на выпускном. Амихай хотел, чтобы сейчас мы выстроились возле койки Офира и исполнили ее еще раз («Что там в колбочке, Шимон, /Коньячок или не он? /Ой, там неон /И на блюдечке лимон!»).

– Мы сделаем это, как только его выпишут, – сказал я (присутствие печальной Иланы помешало мне поднять его на смех).

Через две недели мне позвонил Амихай. Офира выписали. В четверг мы вчетвером встречаемся и смотрим матч с участием «Маккаби». А, да, он послал мне на электронную почту текст песни «Что там в колбочке, Шимон» – на случай, если я забыл слова. Желательно, чтобы до того я пару раз ее спел. Чтобы мы не оконфузились.

Мы не оконфузились.

Потому что в четверг мы ничего не пели.

Во вторник Офир подал заявление об уходе, забрал из банка все деньги, которые скопил за семь лет работы в рекламе, купил билет на самолет, одолжил у Черчилля большой рюкзак и забронировал номер в хостеле на первую ночь.

В терминале аэропорта в Лоде он рассматривал рекламные плакаты, оценивая их качество.

В терминале Аммана он смотрел на них уже меньше.

В терминале Дели не обратил на них никакого внимания.

Все это он взволнованно рассказал нам по телефону.

– С другой стороны, – говорил он, – в Индии полно обкуренных израильтян. И воняет навозом. И горелым маслом. А шум! Вы даже себе не представляете, до чего здесь шумно! Вот, послушайте! – Он повернул телефон в сторону улицы.

Через океан до нас донесся рев мотоцикла.

– Слышали? Но это еще что. Вы бы послушали коров! А еще они держат маленьких детей в глиняных горшках, представляете? Специально держат их в горшках, чтобы у них деформировались кости, а потом отправляют их попрошайничать. Ну не ужас?

– Ужас.

– Убейте меня, но во всем этом не больше духовности, чем в поносе, – с возмущением сказал Офир и добавил, что, если и дальше будет то же самое, он переедет на острова, в Таиланд. Или вернется домой. Он еще не решил. Но пока для него важно поддерживать с нами связь. Потому что ближе нас у него никого нет. Он пообещал звонить каждый первый четверг месяца, как только закончится матч с участием «Маккаби». И хорошо бы мы все трое были вместе и ждали его звонка.

Мы с Черчиллем были уверены, что он не позвонит. В путешествии трудно придерживаться строгого графика. Особенно в Индии. Но Амихай настоял, что мы должны дать мальчику шанс. И в первый четверг следующего месяца мы собрались вместе и посмотрели игру. Ровно через десять минут раздался звонок.

Так родился ритуал, который мы соблюдали почти целый год. Каждый первый четверг месяца мы собирались и смотрели на игру «Маккаби». Амихай специально для меня покупал холодный персиковый чай, Черчилль по дороге заезжал в магазин и привозил гору арахиса, миндаля и семечек, а я приносил бутылку ликера (один студент, чья семья владела фирмой по импорту алкоголя, платил мне за переводы натурой). Мы обходились без травки, потому что обычно ее добывал Офир, и после его отъезда никто не брал на себя этот труд. К тому же Амихаю надоело ругаться с печальной Иланой из-за тошнотворного, как она выражалась, запаха, который мы оставляли после себя в доме. Лично мне не нравилось, что курение косяка из запрещенного действа превратилось чуть ли не в обязаловку. Что до Черчилля, то он, хоть ни за что бы в этом не признался, вздохнул с облегчением. Каждый раз, когда мы пускали по кругу косячок, он разрывался между желанием затянуться и постоянным страхом, что сейчас к нам ворвется полиция, застукает нас за нарушением закона и положит конец его многообещающей юридической карьере.

Пока шел матч, мы разделились на три лагеря: Амихай болел за «Маккаби», потому что «они представляют нашу страну в Европе», Черчилль – за их соперников, потому что «„Маккаби“ – клуб-монополист, на который надо жаловаться в соответствующую комиссию»; я сохранял нейтралитет. В отличие от футбола баскетбол всегда казался мне слишком организованной, слишком вежливой, слишком похожей на меня игрой и никогда не будил во мне сильных чувств. Поэтому я спокойно пил свой чай, подливал остальным ликер и ждал окончания трансляции. И звонка Офира. Амихай заранее приобрел телефон с динамиком, чтобы все могли говорить одновременно, а главное – слышать Офира, который испытывал острую потребность выговориться, рассказать обо всем, что он пережил, иначе у него возникали сомнения, что «все это было на самом деле»; его не волновало, что каждый звонок обходится в целое состояние, потому что «зря, что ли, он семь лет батрачил в рекламе, если не может потратить собственные деньги».

Так, звонок за звонком, месяц за месяцем, мы наблюдали, как он меняется.

Странная вещь. Когда твой друг рядом с тобой, когда ты видишь его каждый день, происходящие с ним изменения настолько незначительны, что ты их не замечаешь. Но когда он далеко…

Началось с того, что он стал говорить медленнее. Как будто каждое произнесенное им слово обладало глубоким смыслом, требовавшим долгого раздумья (это не считая технической задержки при прохождении сигнала, что иногда приводило к сумбуру. Офир после каждого слова делал паузу, и мы, уверенные, что он договорил, ему отвечали, но наши реплики доносились до него с опозданием, смешивались с его собственными последними словами, которые до нас тоже доходили с опозданием).

Затем он все чаще стал говорить о природе. Рассказал, что провел два дня на берегу озера в долине Парвати, созерцая цветок лотоса. «Только приблизившись к природе, – утверждал он, – ты способен ощутить подлинные вибрации мира и вступить с ним в общение. В Хайфе у нас хотя бы была гора Кармель, было море. С тех пор как мы переехали в Тель-Авив, мы потеряли связь с землей. С воздухом. С деревьями. Но подобное отдаление от природы противно нашему естеству». По его мнению, в больших городах было что-то нездоровое. Постоянный фоновый шум, который мешает нам слышать собственный внутренний голос.

– Брось, Офир, – не выдержал Черчилль. – Города отвечают потребности людей собираться вместе. Кроме того, если город так плох, почему он процветает?

Я был согласен с Черчиллем, тем не менее, вроде бы без всякой связи со звонком Офира, в следующий Шаббат мы отправились в поход на Кармель. Мы прошли берегом речки Келах до каменного моста, а на обратном пути завернули в парк «Маленькая Швейцария», где не были уже много лет. На подошвы наших ботинок налипла грязь и сосновая хвоя; мы сочиняли легенды о происхождении слова ktalav, которое обозначает земляничное дерево; мы дышали ароматами сосны и дуба и не без удивления убеждались, что осень – это не только набор звуков, но и время года.

* * *

После долгих скитаний Офир наконец осел в каком-то месте и записался на тренинг под названием «Медитация прикосновением». «Идея состоит в том, –

объяснил он нам, – что для достижения абсолютной внутренней просветленности необходимо полностью отдаться другому человеку посредством тела».

Мы были уверены, что в следующий раз он скажет, что бросил этот тренинг ради какого-нибудь другого. Еще в школе он всегда подбивал нас уйти с вечеринки, если где-то затевалась еще одна, по его мнению более интересная; якобы из-за плоскостопия ему было трудно слишком долго стоять на одном месте. В армии он постоянно подавал рапорты с просьбой о переводе в другую часть, так что за три года службы успел испытать себя в роли танкиста, дешифровщика аэрофотоснимков, военного метеоролога, садовника на командном пункте, военного раввина и даже младшего командира женского подразделения. Когда ему случалось куда-нибудь ездить на автобусе или в поезде, он никогда не покупал обратный билет, хотя это выгоднее, потому что считал, что это накладывает на него ограничения. В его отношениях с женщинами повторялась одна и та же история: в течение двух-трех недель он пылал страстью, а потом в нем просыпалось беспокойство: а не прогадал ли он? Как будто, танцуя с девушкой, высматривал у нее из-за плеча – вдруг поблизости есть другая, гораздо более… ну и так далее. С годами мы разработали почти научный метод предсказания перемен в жизни Офира: как только он начинал с особым энтузиазмом рассказывать о своем новом знакомом или знакомой, мы знали, что очень скоро он с ним – или с ней – порвет. Мы понимали, что его восторженные хвалы в чей-либо адрес – не более чем отчаянная попытка устоять на твердой почве, пока приплюснутые стопы не унесли его прочь, все дальше и дальше.

* * *

– Мой учитель медитации через прикосновение говорит, что у меня природный дар! – гордо сообщил он нам. – Даже остальные участники тренинга признают, что в моих руках есть магнетизм. Стоит мне к кому-нибудь из них прикоснуться, и они чувствуют себя лучше!

– Круто! – отозвались мы.

Но его слова вызвали у нас сомнения. Из нас четверых Офир был наименее терпим к телесным контактам. Если он кого-то и обнимал, то слегка, и руки пожимал так же. Если кто-то из нас собирался хлопнуть его по плечу, Офир инстинктивно отшатывался, словно опасался пощечины. Словно в прошлом ему

уже случалось их получать.

– Офир – и альтернативная медицина? – удивился Амихай. – Вообще-то это моя мечта! Это мое желание к будущему чемпионату!

– Брось, не кипятись, – успокоил его Черчилль. – Через пару дней он про это забудет.

И еще раз изложил нам свою «теорию 360 градусов», согласно которой человек, слишком склонный к резким переменам, делает полный круг и возвращается к исходной точке.

– И знаете что? – добавил он. – Все эти глупости про городского жителя, «оторванного от собственного тела», меня не убеждают. По-моему, это чистый бред.

Я был согласен с Черчиллем, но тем не менее, вроде бы без всякой связи с этим разговором, в субботу утром впервые за много лет отправился на пробежку по набережной. Неподалеку от улицы Фришмана я заметил, что мне навстречу движется знакомая фигура. «Бежим вместе», – с широкой улыбкой сказал Черчилль, переступая с ноги на ногу. Я тоже подпрыгивал на месте, отдуваясь, – в отличие от него, который дышал легко и ровно. (Даже это давалось ему без труда.) «Так что? – Черчилль взглянул мне в глаза. – Бежим?»

В последние несколько месяцев мы виделись довольно часто, но старались не встречаться взглядами. Мне хотелось посмотреть на него в упор и дождаться, чтобы он опустил глаза. Те самые глаза, которые давали мне подсказку на вступительном экзамене в университет (моргнул один раз – выбирай в тесте вариант «А»; два раза – вариант «Б»). Те самые глаза, которые заманили Яару в кафе.

– Ну что, бежим? – спросил он одновременно заискивающе и высокомерно.

– Нет, нам в разные стороны, – ответил я и продолжил свой бег в направлении Яффы.

* * *

Через несколько недель после приобщения к медитации через прикосновения в речах Офира стало мелькать имя Марии.

Они познакомились на одном из занятий. Он делал ей массаж, и посреди сеанса она расплакалась. Он испугался и извинился. Подумал, что причинил ей боль. Она сказала: «Нет, это слезы радости». Он удивился: разве от радости плачут? Она удивилась его удивлению. Неужели он никогда не испытывал такого счастья, что оно казалось невыносимым? «Нет», – признался он. «Давай поменяемся местами», – предложила она. Он вытянул свои длинные ноги на матрасе, и она начала его массировать. После первых же прикосновений он почувствовал невероятный восторг. Как будто что-то, долгое время томившееся в душе взаперти, наконец вырвалось на свободу. Проблема заключалась в том, что воспарил не только его дух. Офир был в шароварах. Из довольно тонкой ткани. И он попросил ее прекратить массаж. Она обиделась: «Что, у меня совсем не получается?» – «Нет, что ты! – ответил он. – Не в этом дело», – и тихо-тихо шепотом объяснил ей, что произошло. Она покосилась на его пах и рассмеялась звонким смехом. В эту минуту, слушая ее искренний, непосредственный, бесстыжий смех, он в нее влюбился.

– Вы не понимаете, – пытался он объяснить нам. – В ней есть что-то особенное. Какая-то чистота. Возможно, потому, что она датчанка. Или потому, что она – это она. Не знаю. Но у нее такой дар быть счастливой, какого я не наблюдал ни у одной израильтянки. К тому же она прекрасная мать. Видели бы вы ее с дочкой.

– С дочкой?

– Ей семь лет. Маленький гений. Она зовет меня Офи.

– Офи?

– Ну да, что-то вроде уменьшительно-ласкательного имени.

– Вон оно что. А что ее дочка там делает?

– Они путешествуют вместе. Как две подружки. Отец девочки бросил Марию, когда она была беременна, и с тех пор они вдвоем.

– Очень трогательно.

– Очень. Ладно, пока, мне пора. Я обещал девочке купить ей банoффи.

– Что за банoффи?

– Это такой десерт. Что-то вроде пирожного из печенья, карамели и бананов.

– Фу, гадость!

– Почему гадость? Откуда вы знаете, что это гадость?

* * *

– Классический пример курортного романа, – сказал Черчилль, вешая трубку.

– Вынужден согласиться с моим ученым коллегой, – подхватил Амихай. – Насколько я знаю Офи, скоро он поймет, в какое «банoффи» вляпался.

– А, ерунда, – усмехнулся Черчилль. – Когда он позвонит в следующий раз, у него уже будет другая.

– Девочку жалко, – сказал я. – Мария ладно, но ребенок…

– А я думаю, что вы все ошибаетесь, – сказала Яара. – На самом деле вы постоянно совершаете одну и ту же ошибку.

– Пожалуйста, дорогая, укажи нам на наше заблуждение! – воскликнул Черчилль и сложил руки в карикатурно умоляющем жесте.

– Ваша проблема в том, что вы отказываете Офиру в способности меняться; вы не желаете признавать, что в этом путешествии с ним правда происходит что-то хорошее. Знаете, кого вы мне напоминаете? Кучку старых политиканов-социалистов из Хайфы, которые встречаются по пятницам в кафе в квартале Ахуза-Кармель, третируют русского официанта и ведут себя так, будто все еще управляют городом.

– В Хайфе нет квартала под названием Ахуза-Кармель, – поправил ее Черчилль. – Есть Ахуза, и есть Центральный Кармель.

– О-о-о-кей! – ответила Яара и швырнула в него подушкой. Которая попала в меня.

* * *

Впервые Яара присоединилась к нашей «конференции» с Офиром случайно.

Обычно в те дни, когда Черчилль смотрел с нами баскетбол, она ходила к своей единственной подруге, а потом он за ней заезжал. Но однажды подруги не оказалось дома – она просто забыла про их встречу, – и Яара позвонила нам снизу и сказала, что она уже два с половиной часа бродит по улицам и пусть Черчилль спросит меня, нельзя ли ей подняться пописать. Я разрешил – из чисто гуманистических соображений. Когда она вошла, я повел себя так, как будто с моей стороны не было никакого бойкота длиной в целый год. Я поднялся ей навстречу, расцеловал ее в обе щеки, пригласил посидеть с нами в гостиной и притворился, что счастлив ее видеть. Что мне совсем не больно.

Минутку. Зачем я лгу?

Мой преподаватель литературного творчества говорит, что честность – главная добродетель писателя. Особенно если он пишет от первого лица. «Возьмите фонарь и осветите все темные углы. Обнажите все уродливое. Все неприглядное. Ничто так не отталкивает, как попытки приукрасить свое „я“», – внушал он нам. Чем я сейчас и занимаюсь. Веду себя как истинный сын англосаксонской культуры, в которой вырос, и скрываю горькую постыдную правду: мне не пришлось притворяться, что я счастлив видеть Яару. Потому что я и правда был счастлив ее видеть, целовать ее в щеку, вдыхать запах ее волос, выслушивать ее безапелляционные суждения по любому вопросу, наслаждаться пулеметным огнем ее критики, понимая, что за этой резкостью скрывается страшная ранимость, и зная, что в момент оргазма она издает стон, похожий на всхлип, словно охваченная печалью, а потом ее как будто отпускает и она прижимается к тебе, как маленькая девочка в поисках защиты, и кладет голову тебе на грудь…

Знать все это и вести с ней спокойный разговор, пока остальные увлеченно следят за игрой… Интересоваться, как у нее дела, чтобы снова услышать, что ей надо «накопить девяносто одну тысячу долларов» и тогда она «наконец уедет в Лондон и поступит на курсы театральной режиссуры». В очередной раз удивиться, почему девяносто одну, а не девяносто тысяч. И почему непременно в Лондон. Разумеется, удержаться от любых комментариев на эту тему. Не признаваться, что ты заметил у нее на большом пальце след нового ожога, означающий, что она не избавилась от своей привычки задувать зажженную спичку на секунду позже, чем нужно. Вместо всего этого сказать только: «Я уверен, что из тебя получится отличный режиссер». Увидеть, как она уставит на тебя недоверчивый взгляд поверх очков: «Да? Правда? Ты правда так думаешь?» Подтвердить: да, я так думаю. Расспросить, как поживает ее замечательный отец, наврать, что у меня все прекрасно, смотреть, как она задумчиво хмурит лоб, заметить, как светится под копной волос нежная мочка ее левого уха, и хоть что-то почувствовать, почувствовать хоть что-то впервые после всех ненужных и бессмысленных свиданий, на которые я соглашался с тех пор, как она меня бросила…

Но и это еще не вся правда. Нужно поскрести еще. Ножом. Рассказать про унижение. Про наслаждение от унижения. Про то, что стало происходить, когда Яара начала регулярно появляться на наших встречах. Когда Черчилль, полагая, что меня это больше не задевает, все чаще к ней прикасался. Я смотрел, как он гладит ее колено. Или бедро. И меня наполняло отвратительно сладостное чувство поражения.

– Слушай, ты ведь не обязан это терпеть, – как-то раз, прощаясь, тихо сказала мне Илана, тронув меня за плечо.

Удивленный ее заботливостью, я прикинулся дурачком:

– Что именно терпеть?

– Я уверена, если ты попросишь Черчилля, он будет вести себя сдержаннее.

Я молча прикусил губу. Как объяснить ей, что это примерно то же, что смотреть по телевизору тошнотворно пропагандистскую передачу, понимая, насколько она тошнотворна, и не имея сил от нее оторваться.

* * *

Я могу скрести и дальше.

Снимать слой за слоем, пока не доберусь до сути.

Суть состояла в том, что я лелеял постыдную надежду. Что у Яары с Черчиллем это ненадолго. Что маленькие трещинки в их отношениях, которые я замечал во время наших встреч, – например, ее склонность препираться с ним по любому поводу или его манера с сальной улыбочкой восторгаться каждой смазливой женской физиономией, появляющейся на экране, – что эти трещинки начнут расширяться, пока не превратятся в Сирийско-Африканский разлом, и что однажды она постучит ко мне в дверь, в синей юбке, которая, как она знала, мне особенно нравилась, или в светлых джинсах (я держал в голове несколько сценариев, меняя их местами, совершенствуя и добавляя детали), я ей открою, она уткнется своим прохладным носом мне в шею и скажет: «Я ошиблась. Я выбрала не того парня. Можно покаяться?»

* * *

Что касается Офира, то он ни в чем не раскаялся.

Вопреки нашим прогнозам, во время следующего сеанса связи он по-прежнему говорил о Марии, и во время следующего тоже, и, повинуясь нашему требованию, передал ей трубку. Ее голос звучал звонко и весело, в точном соответствии с его описанием, но мы решили, что голоса нам недостаточно и он должен привезти ее в Израиль и дать нам возможность составить о ней окончательное мнение. Офир засмеялся и сказал, что он сам этого хотел бы, даже очень хотел бы, но из-за ребенка это проблематично, поэтому он планирует поехать вместе с ними в Копенгаген. И поселиться у них.

– Что? – воскликнул Черчилль. – Ты уверен, что это разумная мысль? Ты познакомился с ней всего два месяца назад!

– Слушай, Офи, – добавил я, – когда мы писали записки с желаниями, ты вроде мечтал издать сборник рассказов? На каком языке ты собираешься его опубликовать? На древнедатском?

– Это и есть ловушка западного образа жизни, – спокойно объяснил Офир. – Мы ставим перед собой цели и сами себя превращаем в их рабов. Мы не жалеем сил, чтобы их достичь, не замечая, что цели успели поменяться.

– Хорошо сказано! – одобрила Яара.

– У индийцев, – продолжал Офир, – есть распространенное выражение: «Савкуч милга», которое означает: «Все возможно». Поначалу оно меня раздражало. Потом я понял, что таков здешний образ жизни. Ты просыпаешься утром, а на улице задувает жуткий муссон, и вдруг он стихает, и уже через пару секунд над тобой синее, без единого облачка небо. Ты садишься в автобус, едешь по абсолютно безжизненной пустыне, а через шесть часов оказываешься в зеленой долине. А если на автовокзале ты спросишь кого-нибудь, когда будет автобус, то услышишь в ответ: «Через некоторое время», и это будет сущая правда. Потому что здесь время течет по-другому.

– По-другому? Это как?

– В Израиле очень трудно поймать муху, верно? Так вот, здешние мухи летают так медленно, что поймать их – раз плюнуть. Здесь, если слегка столкнутся две машины или машина с рикшей, никто не полезет в драку. Оба водителя как ни в чем не бывало продолжат свой путь. Здесь постоянно случаются странные встречи, а ты их предчувствуешь – чуть ли не за секунду до того. Например, вчера утром я вдруг вспомнил секретаршу отца, которая была с ним в тот день, когда он умер от инфаркта, и подумал: интересно, что она сейчас делает, а буквально через полчаса в хостеле, где я остановился, вдруг появляется ее дочь. Когда с тобой происходят подобные вещи, ты начинаешь понимать: вместо того чтобы пытаться подчинить себе реальность, лучше принять то, что тебе предлагает жизнь, и отдаться ее естественному течению. Потому что так или иначе… савкуч милга.

– Хорошо сказано, – повторила Яара.

– Да что тут хорошего? – взвился Черчилль. – Бросать друзей – это хорошо? Год назад ты говорил, что у тебя нет другой семьи, кроме нас, а теперь собираешься вообще предать свою страну?

– Я не предаю свою страну. Хотя вынужден признать, что не слишком скучаю по Израилю. Тем более по израильтянам.

– Позволь напомнить тебе, что мы тоже израильтяне, – сказал Черчилль.

– Ну, по вам я скучаю.

– Тогда в чем проблема? Не понимаю.

– Ладно, забудь. Это сложно. По телефону не объяснишь.

– А как еще мы можем поговорить?

– Да поймите вы… В этом году у меня было много времени… Много времени подумать. И я пришел к выводу, что ничто не происходит случайно. Знаете, почему со мной произошел этот срыв на работе? Потому что я заглянул в бездну.

– В какую еще бездну?

– Каждый художник двигается по узкому, очень шаткому мосту, под которым струится река страха. Это страх, что однажды к нему больше ничего не придет.

– Что именно не придет?

– Идеи, озарения. Что однажды все твои творческие артерии пересохнут. И ты превратишься в холодный камень, под которым – ничего, ни золота, ни меди. Но весь фокус в том, что думать об этом дне нельзя. Нельзя заглядывать в бездну.

– Зачем же ты заглянул?

– Затем, что… Ох, мне даже вспоминать об этом страшно. Мне до сих пор не верится, что я стою здесь, у подножия Гималаев, и рассказываю о том, что…

– Ну так рассказывай!

– В тот день мне пришлось уволить свою помощницу, которая… ну, была далеко не красотка, потому что один из наших крупных заказчиков сказал директору, что ему неприятно смотреть на нее каждый раз, когда он приходит в офис. Через минуту после того, как она в слезах вышла из моего кабинета, я набросился на менеджера по производству, наорал на него и сказал, что, если он не снизит издержки, я лично позабочусь о том, чтобы он больше никогда не нашел работу в рекламном бизнесе. Потом я должен был пойти на совещание и предложить гениальную идею для кампании нашего самого крупного заказчика. И тут вдруг я понял, что у меня нет идей. Меня охватила паника. Это был конец. Источник пересох. Я заперся в туалете, постарался успокоиться и сосредоточиться в надежде что-нибудь придумать, но в голове не было ни одной мысли, только пульс стучал в висках, и во лбу, и в глазах, и в шее… Потом я услышал свое имя, произнесенное по громкой связи; они повторяли его снова и снова, и это продолжалось до тех пор, пока я не перестал вообще что-то слышать.

– Ты никогда нам про это не рассказывал.

– Я вам не рассказывал, потому что… потому что не видел всей картины целиком.

– И какова вся картина целиком?

– Я сломался потому, что у меня кончился заряд. А кончился он потому, что они выжали меня как лимон. Почему они выжали меня как лимон? Потому что я был частью агрессивной системы, которая пользуется словами с единственной целью – повысить продажи. Но эта система, она работает не сама по себе, понимаете? Она – часть агрессивного общества. Начать хотя бы с оккупации Палестинских территорий, с покорения другого народа. А в конце цепочки – всякие мелочи вроде нашей манеры водить машину или стоять в очереди.

– А что, в Копенгагене ничего такого нет? Или чего-нибудь похожего?

– Пата-наи.

– Пата чего?

– Пата-наи. Может, да, а может, нет. Откуда мне знать, как оно в Копенгагене, если я никогда там не был?

* * *

– Говорю вам, ребята, это все его Мария, – сказал Черчилль, когда мы отключились. – «Агрессивная система»? «Оккупация территорий»? С каких это пор у нашего Офи возникли такие идеи? Она промыла ему мозги. Подозреваю, что она из тех прекраснодушных европейцев, которые обратили свой антисемитизм в ненависть к Израилю.

– Но ведь все, что он говорил, справедливо, – спокойно заметила Яара.

– Справедливо, не спорю! – огрызнулся Черчилль. – Но решение не в том, чтобы убегать, а в том, чтобы оставаться здесь, со своими друзьями, и сражаться. Участвовать в жизни страны. Влиять на ситуацию. Делать что-то значимое.

– Это твое решение, – продолжила Яара, рискуя получить подушкой по лицу. – Ты не можешь навязывать его другим.

В комнате повисло тяжелое молчание. Комментатор вышел на площадку и расспрашивал игрока «Маккаби», который пытался объяснить, почему его команда проиграла. В кабинете Илана колотила по клавишам, выстукивая диссертацию. Один из близнецов заплакал во сне. Амихай пошел его успокоить, а я подумал, что в Офире всегда было что-то, что без слов говорило: я здесь временно, я фрилансер. Еще у него была склонность к вранью по пустякам. Например, он уверял нас, что получает в агентстве твердую ставку, хотя на самом деле ему платили процент от каждой сделки. Когда ему не хотелось выходить из дома, он сочинял, что у него температура сорок, и просил, чтобы мы приехали к нему. Однажды на площади перед «Синематекой» мы увидели потрясающе красивую девчонку, и Офир заявил, что встречается с ней, а некоторое время спустя Амихай оказался у нее дома – пришел к ее отцу, продавать подписку на «Телемед», – и выяснилось, что она понятия не имеет, кто такой Офир. С годами, особенно после того, как он начал работать в рекламе, Офир все глубже увязал в этих глупых обманах, поэтому я не совсем ему доверял (как однажды заметил Черчилль: «Есть люди, с которыми можно смело играть в „камень-ножницы-бумага“ по телефону. Офир Злоточинский к таковым не относится»).

Но – что правда, то правда – без Офира Злоточинского наша жизнь определенно утратила бы часть красок. Без его обязательного телефонного звонка в субботу вечером и наших попыток угадать заголовки в воскресном спортивном приложении и без его привычки вдруг позвонить тебе в разгар рабочего дня и прокричать в трубку: «Братишка, скорей включай радио, передают новую песню». Без наших коллективных вылазок на концерты групп, одно название которых – «Художественный видеоцирк» или «Рассветный блюз на помойке» – заранее предупреждало, что нас ждет провальное зрелище. Без странных историй наподобие той, когда он уговорил меня пойти с ним на сеанс рисования с натуры обнаженной модели, хотя ни он, ни я не умеем держать в руке карандаш, или когда он попросил меня сесть в кафе за столик по соседству с ним и его спутницей и притвориться, что я читаю газету, а позже высказать ему свое мнение о девушке, потому что это было уже пятое их свидание, а он все никак не мог понять, нравится она ему или нет.

Без Офира все будет иначе, думал я. С другой стороны, мы прожили без него уже почти год. А человек ко всему приспосабливается.

* * *

– У меня идея, – сказал Амихай, вернувшись из детской. – Давайте дадим в газету объявление под заголовком «Ищем друга». Текст такой: «Три друга детства ищут замену четвертому, уехавшему за границу».

– «Обязательное условие – опыт жизни в Хайфе, – со смехом добавил Черчилль. – Желательно увлечение футболом».

– Круто! – загорелась Яара. – Я помогу вам организовать кастинг претендентов.

– Потребуем от каждого спеть «Что там в колбочке, Шимон», – предложил Амихай. – Сначала соло, потом с нами хором.

– Будем учитывать семейное положение, – с притворным воодушевлением добавил я. – Чем больше у кандидата сестер, тем выше его шансы.

Яара покосилась на меня с сомнением. Возможно, ее расстроил тот факт, что кроме нее на свете есть женщины, способные меня заинтересовать.

– Кто вам действительно нужен, – сказала она, – так это рукастый парень. Потому что у каждого из вас обе руки левые. Знаете, что делает мистер Черчилль, наш глубокоуважаемый юрист, в случае засора раковины?

– Что?

– Зовет меня.

– Механик, – согласился Черчилль. – Нам нужен друг механик. Это бы здорово нам помогло.

«Обязательное условие – опыт жизни в Хайфе. Желательно увлечение футболом. Предпочтение отдается механикам», – подытожил Амихай и добавил, что публикация небольшого объявления, скорее всего, обойдется не слишком дорого, и если мы сложимся, то на каждого выйдет меньше ста шекелей. А если заломят цену, разместим объявление в интернете. Вообще бесплатно.

– Давай! – дружно одобрили мы.

Возможно, мы и правда разместили бы такое объявление, чисто смеха ради, если бы через неделю Яара с Черчиллем вдруг не объявили, что женятся, а за две недели до свадьбы столь же удивительный сюрприз не преподнес нам Офир: они с Марией и ее дочкой приедут на торжество.

3

Существует дурацкий обычай дарить близким друзьям свадебные фотографии с теплыми посланиями на обратной стороне. У Яары и Черчилля хватило такта избавить меня от этой муки. Единственная сохранившаяся у меня фотография сделана тайком дочерью Марии; Офир передал ее мне в запечатанном конверте две недели спустя. Как ни странно, выгляжу я на ней прекрасно. Глаза, нос, уши, рубашка, пуговицы – все на месте. А что там в душе – поди догадайся. Я десятки

раз рассматривал эту фотографию, пытаясь отыскать хоть какой-то признак. Опущенные веки. Двойной подбородок. Легкая бледность. Нет, ничего. Я стою с бокалом в руке и широко улыбаюсь в камеру. Желаю им счастья.

* * *

«Альтернативная зона» на свадьбе включала в себя две кушетки и была расположена в отличном месте: между фуршетным столом и искусственным озером. Возле одной кушетки стоял Офир в свободном белом одеянии. Возле второй – Мария, высокая женщина с широкой улыбкой и ожерельем из крупных жемчужин на груди. Дочка Марии стояла у входа в «зону» и всем, кто ждал в очереди, наливала из глиняного кувшина крепкий горячий чай.

Я ждал вместе со всеми. Я мог бы подать Офиру знак, чтобы меня пропустили вперед, но воспитание не позволило.

Когда подошла моя очередь, Офир указал на свою кушетку. (Я вздохнул с облегчением. У меня не шел из головы его рассказ о том, как Мария делала ему массаж в первый раз. Я боялся, что, попади я к ней в руки, со мной случится то же самое.)

– Ложись на живот, Юваль-джи[4 - Джи – частица, которую в Индии добавляют к имени человека в знак уважения.], – сказал он. – Дыши. Ме-е-е-дленно. И глубоко-о-о.

– Ты помнишь, что у меня астма? – испугался я. – Это лечение не противопоказано астматикам?

– Это не лечение, – сказал он, мягко опуская руки мне на спину. – Это легкий массаж, чтобы снять напряжение. Мне кажется, тебе не помешает немного снять напряжение. Я прав?

О да, еще как прав.

* * *

Эта свадьба оглушила меня, как сверхзвуковой удар в ясный день. Для подобных вещей существует заведенный порядок. Люди знакомятся. Потом знакомят друг друга со своими родителями. Ездят к ним в пятницу вечером на ужин. Проводят выходные в кемпинге в Галилее. Селятся вместе. Заводят собаку. Или трехцветную кошку. Прикидывают, не пора ли расстаться. Выматывают нервы друзьям и близким своими притворными ссорами. И только потом начинают подыскивать ресторан и до хрипоты спорить по поводу списка гостей.

Но в данном случае все произошло слишком быстро. Матч с участием «Маккаби» закончился, и позвонил Офир. Но не успел он поздороваться, как Черчилль сказал, что у него для нас есть важное сообщение и потому он рад, что Офир позвонил, – значит, он услышит новость одновременно со всеми остальными или, по крайней мере, с задержкой всего в полторы секунды…

– Ну?! – нетерпеливо выдохнули мы. Мы были уверены: сейчас он сообщит, что его назначили окружным прокурором. Или судьей Верховного суда.

Тогда он взял Яару за руку. И переплел свои толстые пальцы с ее нежными пальчиками.

Еще до того, как он заговорил, в моей груди образовался воздушный карман.

* * *

После их ухода я учинил Амихаю настоящий допрос. Он поклялся здоровьем близнецов, что ничего не знал. Печальная Илана крикнула из своей комнаты, что, объявляя о будущей женитьбе, они совсем не выглядели счастливыми, что Черчилль слишком инфантилен, чтобы вступать в брак, и что дело, скорее всего, в том, что Яара залетела и не хочет делать аборт; если причина и правда в этом, то она совершает большую глупость, что, впрочем, не удивительно, учитывая характер ее личности, в котором явно присутствует тяга к саморазрушению.

Только во время мальчишника, который состоялся за день до свадьбы, мы узнали, что в действительности произошло.

Черчилль вообще не хотел устраивать вечеринку. По его мнению, без Офира все равно будет не то. Кстати, он напомнил, что наш последний мальчишник не

кончился ничем хорошим.

Это была вечеринка в честь Амихая, и она проходила в мрачном клубе, расположенном в такой же унылой промзоне. Мы с самого начала восприняли идею идти туда без восторга, но Амихай сказал, что кто-то из его коллег там уже бывал и остался доволен. Мы вчетвером заняли столик возле сцены, который зарезервировали заранее. За соседними столиками сидели мужчины и, не жалея ладоней, громко хлопали. У задней стены стоял ультраортодокс; он мастурбировал и покачивался взад-вперед, как пальмовая ветвь на ветру. Мы заказали побольше спиртного и ради Амихая изо всех сил старались веселиться, но музыка была ужасная, да и вся обстановка соответствующая. Особенно отталкивающее впечатление производили танцовщицы. Пустой взгляд, заученные движения… Самый противный момент наступил, когда они плюхнулись к нам на колени и деловитым тоном озвучили расценки. Погладить по заднице – пятьдесят шекелей. Потрогать грудь – сотня. Уединиться с одной из них в подсобке – две сотни. Мы не стали ничего трогать, тем более – платить, и они направились к другому, более перспективному столику. Мы переглянулись, попросили счет, расплатились и двинулись на выход. Нам не терпелось оттуда смыться. Но у дверей нам преградили путь двое вышибал и спросили, куда это мы собрались. Ответил за всех Черчилль. Он сказал, что все было классно, спасибо, но нам пора. Вышибалы заявили, что мы не дали денег танцовщицам. Не дали, подтвердил Черчилль, потому что нам от них ничего не было нужно. И мы в своем праве. Они придвинулись к нему ближе и сказали, что никто не покидает клуб, не заплатив танцовщицам. Говорили они без злобы, но как раз поэтому от них веяло настоящей опасностью. Я помню, как сжал в карманах куртки кулаки и с ужасом понял, что, как бы мне ни хотелось выбраться из клуба целым и невредимым, меня охватило не менее сильное желание сцепиться с вышибалами. Я не вспоминал об этом мелком хулигане со времен интифады (до интифады я и не подозревал, что он во мне сидит, как, возможно, сидит в каждом мужчине), но рассказывать о том, что случилось во время интифады, я не хочу. Черчилль вступил с вышибалами в короткие переговоры, завершившиеся мирным урегулированием: мы даем им триста шекелей, и они нас выпускают. По-другому никак, объяснил он нам, когда мы вышли на улицу, – не драться же с ними. «Драки я не боюсь, но никогда не знаешь, чем кончится потасовка. Если нагрянет полиция, нас всех потащат на допрос. Лично для меня допрос в полиции будет означать конец прокурорской карьеры».

– Само собой, – дружно согласились мы.

В тот день мы поклялись, что ни один из нас больше не будет устраивать мальчишник. Его не устраивал бы и Черчилль, если бы не звонок Офира, который сообщил, что возвращается домой. «Мария настаивает, – сказал он. – Говорит, что нельзя пропустить свадьбу лучшего друга. И вообще, она умирает от желания познакомиться с вами. И с Израилем. Говорит, что, даже если мы решим жить в Дании, она хочет своими глазами увидеть страну, в которой я родился и вырос. И посмотреть, в каких условиях живут в лагерях палестинские беженцы».

– Класс! – обрадовались мы.

Амихай даже предложил им пожить у него. Он полагал, что они правильно истолкуют его приглашение как обычный жест вежливости, но за пару дней до свадьбы они просто постучали к нему в дверь.

Печальная Илана потрясенно оглядела трех человек, стоящих у нее на пороге, в надежде оттянуть момент, когда Амихай выйдет из туалета и ей ничего не останется, кроме как пригласить их войти. Она успела заметить, что у них почти нет багажа, что девочка похожа на ангелочка с церковной фрески и что Офир, который стал как будто выше ростом и еще красивее, чем раньше, лучезарно улыбается ей из-под шапки своих кудрей и слегка опирается на мать девочки, как будто ему трудно стоять.

– Мне на ногу наехал рикша, – объяснил Офир, не дожидаясь вопроса Иланы. – В последний день в Дели, за три часа до рейса.

– Какая неприятность, – сказала Илана, все еще придерживая дверь и загораживая вход.

– Савкуч милга, – смущенно сказал он, и она не поняла, почему он говорит с ней по-венгерски.

– Брата-а-н! – Амихай выскочил из туалета и бросился обнимать Офира. – Приехали! Глазам своим не верю! Какие же вы молодцы, что приехали!

Когда с объятиями, похлопываниями по спине, шуточками и воплями радости было покончено и Офира впустили в квартиру, он раскинул руки, намереваясь обнять и Илану. Она обнялась с ним и с его подругой, которая почему-то тоже полезла к ней обниматься, помогла гостям распаковать вещи, а потом втолкнула

Амихая в комнату близнецов, закрыла дверь и сказала: «Только на одну ночь. Не больше. И то лишь потому, что нехорошо выбрасывать на улицу хромого человека. Я десять лет молча терпела твоих дружков и их выходки, но на сей раз ты зашел слишком далеко».

– На одну ночь, – покорно согласился Амихай.

В итоге они прожили у них две недели.

* * *

В первый вечер, когда печальная Илана села в углу, отгородившись от остальных толстой английской книгой «Депрессия как предвестник тревожных мыслей», мы по привычке не обратили на это внимания. Но Марии показалось странным, что человек, находящийся с нами в гостиной, не участвует в общем разговоре; она подсела к печальной Илане, расспросила ее о книге, а потом рассказала, что подростком страдала от постоянной зимней депрессии, потому что зимой в Дании очень короткий световой день. На нее это страшно давило, особенно в подростковом возрасте, хотя… почему только в подростковом? Пока она не уехала в Индию, эти симптомы с разной степенью интенсивности проявлялись каждый год. «Каждую зиму я всерьез задумывалась о самоубийстве», – с сияющей улыбкой сообщила она. У печальной Иланы заблестели глаза, она положила руку Марии на плечо и сказала: «Это, наверное, было очень тяжело». Мария, не убирая ее руку со своего плеча, ответила: «Да. Пока ты подросток, с подобными мыслями еще можно мириться. Все твои знакомые девчонки заигрывают со смертью… Но когда ты мать, все усложняется. На тебе лежит ответственность». – «Конечно, – кивнула печальная Илана. – Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь». И пока мы спорили о том, какие песни закажем диджею на свадьбе, между ними пробежала та искра, благодаря которой чужаки превращаются в друзей.

Дочка Марии тоже оказалась настоящим сокровищем. Похоже, она давно мечтала о младшем брате, и вдруг ей выпала редкая удача получить сразу двух. Они с близнецами образовали неразлучную троицу. Разумеется, мальчишки в нее влюбились и с пылом шестилеток оказывали ей всевозможные знаки внимания; она в свою очередь поощряла ухаживания то одного, то другого, стараясь ни одного не лишать надежды, без которой трудно хранить привязанность.

Что до их матерей, то они, избавившись от необходимости поминутно чем-то занимать детей, с удовольствием продолжили ближе знакомиться друг с другом. Мария научила печальную Илану тонкостям вегетарианской кухни, и они проводили на кухне долгие часы, стряпая восхитительные блюда из тофу и красной чечевицы. Печальная Илана устроила Марии экскурсию по университету и поделилась с ней последними научными достижениями в своей области. Мария уговорила печальную Илану пойти с детьми на пляж (Амихай, услышав об этом, не поверил своим ушам. Он годами звал ее на пляж, но печальная Илана отказывалась наотрез под тем предлогом, что море слишком грязное); они вернулись оттуда перемазанные мазутом и счастливые. Илана убедила Марию выступить перед группой поддержки девочек-подростков, страдающих депрессией, и поделиться с ними личным опытом. Затем она сводила ее на акцию «Женщины идут до конца», а потом – на митинг организации «Женщины в черном».

– Ты не чувствуешь, что ты здесь немного лишний? – спросил Офир Амихая за одним совместным ужином – ради него пришлось разложить стол, – когда печальная Илана, обращаясь к Марии, произнесла по-английски заковыристую фразу, наполовину состоящую из профессиональных терминов, очевидно понятных им обеим.

– В последнее время мы все чувствуем, что мы здесь немного лишние, – жалобно сказал Амихай жене.

– Потому что вы и есть лишние! – сказала печальная Илана и расхохоталась.

Хохотом Марии.

Амихай посмотрел на нее с изумлением. «Какая она красивая, когда смеется, – подумал он. – Невероятно. Я годами старался ее развеселить, но все мои попытки провалились, и вдруг появляется эта Мария и без всяких усилий делает ее счастливой».

– Почему бы вам не организовать себе какое-нибудь развлечение? – предложила печальная Илана с легкой улыбкой, еще чуть дрожащей в уголках ее рта. – Ваш друг через два дня женится. Почему бы вам не отпраздновать это событие? Я имею в виду – своей мужской компанией.

– Вау! – воскликнул Амихай.

Они с Офиром позвонили мне, и мы поехали к Черчиллю. Тот согласился, но при условии, что не будет ни стриптизерш, ни танцовщиц и что мы не позволим ему напиться, потому что послезавтра у него свадьба и ему не нужны неприятности. Мы пообещали, что будем за ним присматривать, хотя понимали: если Черчилль захочет напиться, вряд ли мы ему помешаем, – против его железной воли мы были бессильны. И правда, когда после третьего бокала Офир попытался его остановить, Черчилль посмотрел на него так, что у нас пропало всякое желание с ним спорить. И опустошил четвертый бокал, а за ним пятый.

После шестого бокала он выдал нам свой секрет.

Оказалось, что, даже завоевав сердце Яары, он продолжал тайно встречаться с Шароной – стажеркой, с которой в последние годы время от времени спал.

– Я сам не знаю почему. – Он поочередно обвел взглядом каждого из нас, как будто мы были присяжными и он пытался убедить нас в своей невиновности. – Секс тут ни при чем. Абсолютно ни при чем. Секс с Шароной не идет ни в какое сравнение с тем, что у меня с Яарой. Не знаю. Может, я просто боюсь. Понимаете… – Теперь он смотрел мне прямо в глаза. – Когда я с Яарой, я иногда ловлю себя на мысли, что другой такой женщины нет в целом мире. И мне не верится, что она выбрала именно меня. Наверное, я хотел иметь что-то вроде запасного аэродрома. На тот случай, если она передумает. А может, я просто больной на всю голову, как мой папаша.

Мы не знали, что сказать. За все годы нашей дружбы мы ни разу не видели Черчилля таким растерянным.

– В общем, – продолжил он, – Яара обо всем узнала. Она сидела в кафе и нечаянно подслушала разговор двух девушек за соседним столиком. Этими девушками были Шарона и ее подружка. Такой уж я везучий. И как раз в тот день Шарона решила, что больше не хочет таиться и должна кому-нибудь рассказать о нашем воскресном мероприятии, как мы с ней это называли.

– Да уж, повезло так повезло! – вздохнул Амихай.

– На самом деле Израиль – это большая деревня, – кивнул Черчилль. – Когда я вернулся домой с работы, на автоответчике было сообщение от Яары: «Приезжай, надо поговорить о Шароне». В ее голосе не было злости. Наоборот. Он звучал так, как будто она уже все для себя решила. Я поехал к ней. По дороге осознал, что должен пойти на сделку со следствием. Согласился со всеми выдвинутыми против меня обвинениями и просил о снисхождении с учетом смягчающих обстоятельств. Сказал ей, что это остатки старого Черчилля. Что с тех пор, как я встретил ее, я стал другим человеком. Я стал лучше. А Шарона… Шарона – это всего лишь пережиток прошлого, который тянется за мной. Она ответила, что ей все равно, пережиток Шарона или нет, и что после того гитариста, который пять лет мучил ее, она поклялась, что никогда не позволит ни одному мужчине так с собой обращаться. Как бы сильно она его ни любила. И поэтому она просит меня собрать свои манатки и выметаться вон.

– И тогда ты сделал ей предложение? – спросил Офир и почесал лоб. Вся эта история явно его изумила. Как будто в его новом мире очищенных энергий для подобных низостей не было места.

– Нет, не тогда, – сказал Черчилль. – Видели бы вы ее, когда она открыла мне дверь. Какие уж тут предложения. На следующий день я явился к ней без предупреждения, с кольцом, и пал перед ней на колени. «Шутишь?» – спросила она и повернулась ко мне спиной.

– Молодец! – выпалил я.

Амихай бросил на меня испепеляющий взгляд.

– Если бы она согласилась сразу, было бы не так интересно, – пролепетал я, понимая, что дал маху.

– Погоди, так как же все-таки ты ее уломал? – быстро спросил Офир, спасая меня от неловкости.

– Ты не поверишь. – Черчилль налил себе еще стакан. – С твоей помощью.

– С моей помощью? – вздрогнул Офир. Эта история представлялась ему все более запутанной.

– Именно, – подтвердил Черчилль. – Она сказала, что, если я по природе бабник, женитьба ничего не изменит. На что я возразил: «Люди могут меняться, иногда – кардинально. Взять хоть Офира. Кто бы год назад мог подумать, что он облачится в белые одежды и станет таким миротворцем?»

Мы с Амихаем переглянулись. Насколько мы помнили, Черчилль воспринимал перемену, случившуюся с Офиром, с нескрываемым скепсисом.

– Ты хочешь сказать, что именно это ее убедило? – усомнился Амихай.

– Нет, – сказал Черчилль. – Но именно тогда я впервые заметил в ее глазах нечто такое, что дало мне понять: она из тех людей, кого можно уговорить. Всю следующую неделю я слезно ее умолял. Дарил скромные подарки. В конце концов она согласилась, но на двух условиях. Во-первых, обряд будет совершен по канону реформистского иудаизма и проведет его женщина-раввин. Во-вторых, я ни слова не скажу своим друзьям об обстоятельствах, сопутствовавших нашему решению вступить в брак. «Пусть они считают, что ты так в меня влюблен, что больше не мог ждать», – сказала она. Я поцеловал ее в губы и сказал, что это чистая правда. И пообещал, что вы ничего не узнаете.

– Тогда зачем ты нам рассказываешь? – поддел я его. – Зачем нарушаешь обещание?

– Вы сами виноваты! – огрызнулся Черчилль. – Я не хотел никакого мальчишника. Знал, чем все кончится, если я напьюсь. Но вы меня заставили.

Мы промолчали. Амихай и Офир опустили головы. Я – нет.

– Ну вот, теперь я в вашей власти, – сказал Черчилль и посмотрел на меня мутным от выпитого взглядом. – Хотите – сохраните этот разговор в тайне. Хотите – заложите меня. В смысле передайте его Яаре.

– С какой стати нам тебя закладывать? – поспешил успокоить его Амихай. – Мы же твои друзья.

– Было бы большой глупостью говорить ей об этом, – добавил Офир. – Зачем убивать любовь?

Я молчал. Мне вспомнился ворон из «Метаморфоз» Овидия, который получил черную окраску в наказание за то, что донес на одного из богов.

Все трое смотрели на меня с немым вопросом. Как будто нам уже принесли счет и каждый положил свою долю; теперь они ждали, что я сделаю то же и мы вернем тарелочку официанту.

– Ты хоть ее любишь? – спросил я.

– Конечно! Ты вообще о чем? Что за вопрос?

– Ты рассказываешь эту историю, как будто описываешь один из своих процессов. Как будто для тебя главное – выиграть.

Черчилль посмотрел на меня с печалью:

– Я всегда так рассказываю. Как будто читаю по бумажке заранее написанную речь. Но вы – мои друзья… Вы должны знать, что я… что мне… а ты особенно…

Черчилль подлил себе в бокал. Рука у него дрожала, и несколько капель пива упало на стол.

– Я без нее пропаду. – В уголке глаза у него блеснула слеза. – Без нее я совсем пропаду.

Амихай и Офир испуганно уставились на меня, отказываясь принимать новый образ Черчилля.

Я тоже не понимал, то ли в нем действительно что-то надломилось, то ли он демонстрировал нам очередной судебный трюк, призванный гарантировать, что мы сохраним его тайну. Но все же это его «ты особенно» меня зацепило. Поэтому я приложил указательный палец ко рту в знак молчания и сказал:

– Ладно, Черчилль, насчет меня можешь не беспокоиться.

* * *

Тем не менее я вежливо отказался от предложения держать один из четырех шестов хупы – свадебного балдахина. Всему есть предел, верно? Пока шла церемония, проводимая женщиной-раввином, я стоял в стороне и думал: жаль, что Яара в контактных линзах, потому что в очках она выглядит лучше. Еще я думал, что даже без очков она красива так, что дух захватывает. Еще я думал, что главное в ней – не внешняя красота, а странная смесь наивности и проницательности, категоричности и деликатности, проказливости и серьезности. То, что делало Яару Яарой. Еще я думал, что на свадьбе я единственный, кроме жениха, кто спал с невестой. Слабое утешение. Еще я думал, что это никуда не годится – даже два года спустя я все еще в нее влюблен. Еще я думал, что зря сюда пришел. Это была ошибка. Неизбежная ошибка. Еще я думал, что женщина-раввин уверена, что у нее есть чувство юмора, тогда как никакого чувства юмора у нее нет. Еще я думал, что поздравление, которое Офир зачитал от нашего имени, написано превосходно, и очень жаль, что долгие годы работы в рекламе внушили ему отвращение к словам.

Я размышлял, с унылым видом бродил туда-сюда, шарахаясь от стола, где сидели ребята, к столу, где сидели те, кого «не знали, куда посадить, и посадили с другими гостями, которых не знали, куда посадить», и где в том числе сидели мои родители.

Черчилль пригласил мать Амихая и мать Офира, но явились только мои родители, потому что «если вас приглашают, невежливо не пойти». Моя мать, как обычно, обворожила присутствующих своим неиссякаемым оптимизмом, тем самым дав отцу возможность расспросить соседей по столу, чем они занимаются, и вручить им визитки семейной типографии. Оба они дружно сетовали на присутствие большого числа охранников («До чего мы дожили, если даже на свадьбе приходится опасаться?»), и оба не переставая следили за мной взглядами: мать с почти слепым обожанием, отец с почти безнадежным разочарованием.

Так было всегда. Когда я приносил домой дневник, мать восторгалась моими оценками по литературе и истории, а отец скорбно вздыхал, взглянув на оценки по физике и математике. Когда я сказал, что поеду в Тель-Авив поступать на факультет гуманитарных наук, мать заявила, что это «ma-gni-fi-cent!»[5 - Великолепно! (англ.)], а отец раздраженно пожал плечами: «Кому нужны эти гуманитарные науки? Что ты будешь с ними делать? Чем зарабатывать на жизнь? Что с тобой будет?»

«Что с тобой будет?» Это был его любимый вопрос. Он задавал мне его, сидя в гостиной в кресле и аккуратно нарезая грушу или яблоко на тонкие ровные ломтики. Но на свадьбе мне показалось, что я прочитал в глазах отца новый, еще более жгучий вопрос: «Как ты мог уступить Яару этому типу?»

Она покорила отца, едва успев в первый раз войти своей летящей походкой в наш дом в Хайфе. Два часа спустя, когда мы сидели за столом, случилось невероятное: отец рассказал анекдот. Яара засмеялась. Буквально покатилась со смеху. Отец покраснел. Я никогда раньше не видел, чтобы он краснел, разве что от гнева.

Потом он спросил, не холодно ли ей. Может быть, включить отопление? Или принести пуховое одеяло? Или дать свитер Мэрилин?

– Спасибо, у вас очень уютно, – улыбнулась Яара. – Но теперь я понимаю, откуда у вашего сына манеры джентльмена.

Позже они погрузились в дискуссию о британском театре, которому израильский не годился и в подметки (кстати, выяснилось, что мой отец работал осветителем в Вест-Энде. Когда это было? И почему я до сих пор об этом не знал?), а когда они запели дуэт из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, мы с мамой решили, что с нас довольно, и начали убирать со стола.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Здоровяк (англ.). – Здесь и далее, если не указано иное, – прим. ред.

2

Гостиница (исп.).

3

Великий Боже! (нем.)

4

Джи – частица, которую в Индии добавляют к имени человека в знак уважения.

5

Великолепно! (англ.)

Купить: https://tellnovel.com/nevo_eshkol/simmetriya-zhelaniy

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити